



Золотой фонд политической мысли



ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕЧИ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО
ДО ВЛАДИМИРА ПУТИНА



А. Ю. Клименко
Величайшие речи русской истории. От
Петра Первого до Владимира Путина
Серия «Золотой фонд политической мысли»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7351186

Величайшие речи русской истории : от Петра Первого до Владимира Путина: Алгоритм; Москва;

2014

ISBN 978-5-4438-0758-4

Аннотация

В этом сборнике, который должен стать настольной книгой каждого русского патриота, представлены лучшие речи государственных деятелей России XIX–XX вв. Они вызвали искренний интерес и живую реакцию современников, порой круто меняя политическую и культурную атмосферу в стране и в мире.

Они звучали в поистине переломные моменты: накануне отмены крепостного права, на судебных процессах против народников, во время Первой русской революции и сразу после поражения России в Первой мировой войне. Их произносили выдающиеся политические деятели и блестящие ораторы: Столыпин, Керенский, Миллюков, Сталин, Путин. Эти речи точно передают уровень напряжения в обществе, степень «брожения умов» во время политических кризисов.

Современные политики, читая эти тексты, могли бы многое узнать и многому научиться. Но книга адресована не только им. Узнать о том, как ярко, образно и доходчиво выражать свои мысли, будет полезно политологам, журналистам, специалистам по пиару и всем людям «публичных профессий».

Содержание

Екатерина Великая	4
Георгий (Конисский), Архиепископ Могилева	16
Александр I	17
Николай I	20
В. А. Кокорев	22
Александр II	26
С. И. Бардина	27
И. Н. Мышкин	30
Петр Алексеев	43
П. А. Александров	46
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Величайшие речи русской истории: от Петра Первого до Владимира Путина

Екатерина Великая Речь о старообрядчестве, сказанная на общей конференции синода и сената

15 сентября 1763 года

Преосвященные архипастыри и гг. сенаторы!

В русской империи, Промыслом нашему управлению вверенной, издавна продолжается раздор и раскол между архипастырями и народом. Я, насколько могла, старалась понять суть раздора и, надеюсь, поняла удовлетворительно. Эта суть знакома их преосвященствам, а вам, гг. сенаторы, мы постараемся ее объяснить. Не сейчас и не вчера, а как только я, по внушению неба, почувствовала себя родною великому русскому народу и его скорби, и его радости, до глубины души огорчилась раздором между архипастырями и народом и положила на своем сердце – истощить все средства ко уврачеванию этой язвы, разъедающей государственный организм. Каждого из архипастырей – и ученых, и духовных – расспрашивала я: из-за чего именно и как явилась и продолжается толико упорная с обеих сторон вражда, расспрашивала каждого и здесь присутствующих архипастырей. От всех их я выслушала следующее: «Русская церковь от недостаточного общения с восточными патриархами в продолжение нескольких веков утратила правильность и чистоту своей обрядности; о падении нашем не сами мы, русские, догадались, а надумали нас греческие и киевские отцы, примерно с 1649 года начавшие наезжать на Москву. Первая из погрешностей, на которую они указывали с наибольшим рвением со многими «зазираниями и осуждениями», было сложение двух перстов для крестного знамения. Знакомся далее с нашими якобы падениями, греческие и киевские отцы нашли еще несколько обрядовых разностей. Прибавление слова «истинного» к слову «Господа» в символе веры, произношения «Исус» вместо «Иисус», двойное аллилуйя вместо троения, хождение по солнцу вместо хождения против солнца, употребление на проскомидии семи просфор вместо пяти, печатание просфор круглою печатью вместо квадратной, именование в одной из молитвенных пресловий Сыном Божиим, а не Богом».

Гг. сенаторы! Вы сейчас встречаете великую скорбь, якобы к небу вопиющая преступности нашей церкви против восточных патриархов были причиною раскола. Что до нас, то нам припомнилось путешествие Гулливера, попавшегося после крушения его корабля в одну страну, так называемую «лилипуты», в которой существуют люди величиною в 3 или 4 вершка. «Народ этой страны, – рассказывает Гулливер, – уже целые века подвергается страшному истязанию и смертельным казням за то, что он ослушивается определения верховной власти, чтобы разбить яйцо непременно с острого конца; если же кто разобьет с тупого конца, тот беспощадно попадет на кол или костер».

Итак, все эти зазирания и осуждения греческими и киевскими отцами нашей отечественной обрядности, гг. сенаторы, и затем внутренние запреты и проклятия, истязания и казни не похожи ли на лилипутские споры и междоусобия из-за того, с которого конца разбивать яйцо, и не суть ли они внушения суетности, тщеславия и склонности греческих и киевских отцов учить и драть за ухо нашу отечественную церковь, а при этом обирать наших царей и народ, дескать, за науку, за якобы спасительную для нас проповедь, словом – показать нам свое пред нами якобы превосходство и нашу в них якобы необходимость. По моему,

господа сенаторы, государю Алексею Михайловичу следовало бы всех этих греческих отцов выгнать из Москвы и навсегда запретить въезд в Россию, чтобы они не имели возможности затевать у нас смуты, а киевских отцов просто рассылать по крепостям и монастырям на смирение. До сих пор, господа сенаторы, все это, признаюсь, сначала возбуждало во мне веселость. Но никак не допуская, чтобы человечество, нет – не только человечество, а христианство, и сие в высших нарочитых его носителях и представителях, могло дозволить себе унизиться до таких безрассудных размеров, мы потребовали подлинные деяния собора 1667 года, и нам показали его соборный акт от 13 мая, коим, как нам объяснили, этот собор увенчал все прежние с 1649 года начавшиеся зазириания, осуждения, запреты и проклятия поименованных обрядностей. Прочитывая этот злополучный акт, мы натолкнулись на новую характерность, про которую отцы нам не говорили. Вы уже знаете, что отцы с проклятиями, запретами произносят Сыне Божий на так называемой молитве ко Иисусу. Надеюсь, вы поняли бессмысленность и преступность клятвы. Но это не все, а вот что мы еще вычитали в этом акте. Отцы с проклятиями запретили говорить «Сыне Божий» только на соборе, т. е. на церковных, общественных священнослужениях, а во всех остальных случаях предоставили свободе каждого говорить: и «Боже наш», и «Сыне Божий». Стало быть, во всех этих остальных случаях и «Сыне Божий» здесь в этой молитве находили Богу угодным и спасительным. Что же это такое? Признаюсь, господа, этот момент и этот акт, и этот май, и это 13 число, и эти отцы в представлении моем приняли образ чудовища, зверя, адом, изрыгнутым на посрамление веры христианской, на посрамление человечества!

Затем, гг. сенаторы, допрашивали мы преосвященных архипастырей. Во всех осужденных 13 мая обрядовых действиях и чтениях есть ли какая противность или вере христианской, или канонам церкви, или интересам государства? От всех мы получили полное отрицание. Зачем же, допрашивала я отцов, зачем вы за эти клятвенные запреты стоите так упорно и азартно, что, например, 15 мая 1722 года определили лишить церкви и таинств каждого из православных за то только, что он крестится двумя перстами? Вот, отвечают, что это делают они по должному послушанию великому и святому собору 1667 года, положившему клятвенные запрещения на двуперстие и крестящихся двуперстно с таким подтверждением, что скорее весь чин природы разрушится, а клятвы эти пребудут неразрешены во веки веков, аминь!

Да, да, господа, я уже сказала, что читала этот злополучный акт и подтверждаю, что ссылка на него отцов безупречна. Но что же в этом, ежели и клятвы несправедливы и запреты безрассудны? Неправедная клятва не обращается ли на самих проклинателей? Все эти клятвенные запреты ничтожнее для нас комара: этот, по крайней мере, ужалить может, а безрассудные клятвы? Что это, как не перебранка между собой базарных торговцев, что это, как не лай собак на толпу проходящих! Да, гг. сенаторы, да, преосвященные отцы! Ежели есть в Церкви Божией праведная клятва, то по истине стоит ее акт 13 мая и составители его... Да, да, преосвященные отцы, в этом вашем акте мы вот еще что вычитали во удостоверение праведности и непреложности своих закланий, именно: «аще же кто и умрет во упрямстве своем, да будет и по смерти не прощен и не разрешен, и часть его и душа его с Иудею предателем и со Арием, и с прочими безбожниками и еретиками. Камение и древесина да разрушатся и растлятся, а той и по смерти пребудет не прощен и не разрешен, яко тимпан во веки веков, аминь!» Это, господа, значит, что тела умерших в непокорстве отцам 13 мая до Страшного Суда не предадутся разложению, что их, как говорится, не будет принимать земля. Это отцы обещают нам во имя Великого Бога. Так ли, преосвященные отцы, поняли мы ваш соборный акт 13 мая? (*Молчание*). Отчего же Бог не послушал и не слушает вас, отчего не видали мы ни одного такого знамения? Господа, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы какого-нибудь старообрядца не приняла земля?

Преосвященные отцы! Давайте же нам такое знамение, покажите нам такие телеса или хотя одно такое тело покажите, или же откажитесь от своих клятв и запретов. Клятвы и запреты! – против чего? Против предметов не только безвинных, не только честных, богоугодных и спасительных, но даже более осмысленных и более продуманных, чем указано соборне. Телесные озлобления и смертельные казни, кнут, плети, резания языков, дыбы, виски, встряски, виселицы, топоры, костры, срубы – и все это против кого? Против людей, которые желают одного: остаться верными вере и обряду отцов! Преосвященные отцы! За что вам на них так звериться и сатаниться? Есть ли у вас, хотя искра, хотя призрак человеческого чувства, совести, смысла, страха Божия и страха людского? Святителей ли я вижу? Христиане ли предо мной зверятся и беснуются? Человеки или звери устремляются пред моими глазами на растерзание Христова стада и на колебание основ Провидением нам вверенной матери?!

На дальнейшие наши расспросы: в праве ли и не обязаны ли св. синод и архипастыри исправить ошибки своих предшественников, нам отвечали приблизительно следующее: Собор есть голос церкви, есть сама церковь, а церковь непогрешима. Узнает народ, что собор 1667 года погрешил, у него поколеблется вера в свою церковь.

Ясно, господа сенаторы, что преосвященные отцы указывают нам церковь не истинную, а ложную и лживую. Не ту Церковь, которая истинность своих соборов доказывает согласием их с учением Христа и апостолов, а ту, которая на слепой вере народа в собор мнит строить неправедность безрассудств, никому не позволяя сомневаться в достоинстве ее определений. Скажу яснее и прямее: не ту церковь, которая имеет право исправлять ошибки своих первосвятителей, а ту, в которой эти перво-святители не только не позволяют никому обличать их ошибки, но и принуждают веровать в эти ошибки, как во внушения Бога. Но ни престол, ни государство не могут быть крепки, стоя на лжи и обмане. Гг. сенаторы, преосвященные отцы! Я с помощью Бога на всяком их слове опровергала и стыдила. За всем тем, на все наши предложения исправить давнейшие погрешности, они в этом нам отказывали и отказывают. Вот, гг. правительствующий сенат, цель сегодняшней вашей конференции с св. синодом. Сегодня, при содействии вашем, мы надеемся сломить его упрямство, а вы, гг. сенаторы, будете свидетелями пред Отечеством, что меры, кои мы на случай дальнейшего упорства имеем принять, вынуждены у нас преосвященными отцами. К вам обращаюсь, св. синод, и вместе с сим возвращаюсь к вашему определению от 15 мая 1722 года. Спрашиваю: о мудрости ли, о просвещенности ли, о пастырности ли свидетельствует этот акт? Удивляюсь вашему ослеплению: народ валит в церковь и, конечно, со своим от отцов унаследованным двуперстием, а архипастыри будто как злодеев встречают его проклятиями и угрозами истязаний и казней. Кто же из вас раскольники, кто злодеи? Можем ли мы терпеть это пятно, эту нечисть, этот позор на нашей императорской порфире, на отечественной церкви, на ее иерархии и, наконец, на вас самих, преосвященные отцы? Хотя знаю, самая мысль расстаться с этой нечистотою приводит вас в ужас и негодование! Не трогаю ваших ни запретов, ни проклятий: пусть они последуют за вами и туда, где раздадут их по достоинству. Отвечайте, преосвященные отцы, согласны ли вы уступить русскому православному народу, уступить нам только любезное двуперстие? Согласны ли вы ваш акт от 15 мая открыто и явно заменить актом, ему противоположным?

– Самодержавная государыня, великая мать Отечества! – в один голос отвечают члены синода. – Святая церковь непогрешима, а собор – ее голос. Великий святой собор изрек клятвенное запрещение на двуперстие, это изрела сама церковь; веруем во Христа, веруем и в Его Церковь. Твоя власть, великая государыня, над нашей жизнью, но жизнь наша – Христос и Его Церковь, за Христа и Его Церковь мы умереть готовы. Искоренение двуперстия есть задача нашей жизни и нашего святительства. Делай, государыня, что тебе угодно, но без нас.

– Слышите, гг. сенаторы? – продолжает мудрая Екатерина. – Слышите, какую хулу возводят архипастыри на Христа и Его Церковь, какую грязью бросают они им прямо в лицо, называя Телом Христа и Его Церкви блевотины своего изуверства? Знаю, преосвященные отцы, что Церковь святая непогрешима, а соборы суть ее голос. Но не могут же быть святыми соборы разбойнические? Таков по содержанию и последствиям собор 1667 года. Не произношу суда над ним: суд над соборами принадлежит Церкви и ее соборам. И собор 1667 года пусть будет свят и непогрешим во всем остальном; но что касается до акта его от 13 мая, то это не что иное, как извержение невежества, гордости, злобы, насилия и изуверства. Гг. сенаторы! Сам св. синод, здесь, в присутствии вашем, признался, что его собственный акт от 15 мая 1722 года есть родное детище соборного акта 13 мая, есть точное отражение, отпечаток этого акта, а вы видели уже достоинство их обоих. Пусть для членов синода, пусть для всех архипастырей и российских и греческих собор тот будет и велик и свят. Но нам-то, императрице русского народа, какое дело до святости и великости собора, если постановления его безумны? И не будем ли мы отвечать перед историей и потомством, и куда скроемся мы от собственной нашей совести, если, противопоставив с одной стороны несправедливость и безумство соборных запретов и проклятий, а с другой – справедливость, громадность и энергию протеста, – останемся среди них безучастными и бездеятельными? Акт «великого и святого» собора с проклятиями и угрозами истязаний повелевает мне креститься непременно тремя перстами. Но что если двуперстно слагать знамение креста научила меня дорогая мне мать, поясняя, что это слагание есть завет Церкви и предков, что, храня этот обряд, я чту их память и, сохраняя уважение к Церкви, привлекаю на себя благословение неба? Недаром ведь Бог еще в Ветхом Завете проглаголал: «Чти отца твоего и мать». Но можно ли чтить отца и мать и плевать на бабу и деда, на ближних и отдаленнейших предков, если учение их не отступало от учения Церкви. Это я говорю, входя в чувство каждой гражданки, дочери и матери. Теперь скажу как императрица. Основание государственности есть семья, крепость семьи, почтительная преданность родителям, крепость всей совокупности семьи, крепость государства, благоговейное отношение к памяти предков. Дозволим же ли мы кому-то ни было разрушить сию важнейшую из основ государственности, бросая грязью и огненные стрелы в верования, обычаи и в справедливый обряд предков? Преосвященные отцы! Вот вам мои два перста. Гг. сенаторы! Вот вам наше исповедание Распятого! Вот, я при всех вас этим двуперстием полагаю на себя знамение креста, полагаю твердо и истово, как крестились предки, как крестится теперь народный протест. Видели? Св. синод осмелится ли сказать, что я – еретичка, что я – раскольница, что я – противница Распятому и Его Церкви? Да, я противница, я презрительница, но только не Христа и Его Церкви, а ваших, св. синод, безрассудств и вашего, отцы архипастыри, достойного проклятия собора 13 мая. А будучи сама исповедницею Распятого, но презрительницей ваших и соборных, и синодских бредней, могу ли осуждать русский православный народ, осуждать старообрядчество, народный протест, который вы называете расколом? Гг. правительствующий сенат! Вот я во второй раз крещусь двуперстно и с сим после знаменем веры в Бога-Человека, с этим символом любви к Распятому, свидетельствую вам пред Господом-сердцеведцем, что не допущу, чтобы в империи, Всевышним Промыслом нам вверенной, продолжать невежество, чтобы наше царствование и наше имя в истории загроузили безобразия их преосвященств. Крещусь в третий раз, в третий раз подтверждаю, что сие наше намерение будет нами исполнено, что не далее, как сегодня, и не позже, как в это заседание, русский православный народ получит полную свободу креста и обряда. Еще раз обращаюсь к вам, св. синод, уступите нам, уступите доброму, любезно верному нам русскому народу его родное, отечественное и любезное им двуперстие.

– Всемиловейшая государыня! – отвечает синод. – С благоговением выслушали мы твое исповедание, со смирением обличения в глубине своих совестей мы признаем и без

колебаний исповедуем святость двуперстия. Но здесь, в общем собрании, с сенатом мы обязаны рассуждать не только как пастыри, но как государственные деятели и администраторы. Прими во внимание, государыня, невежество и грубость русского народа. Ежели и может что его обуздывать, то это одна сила и страх. Какую же силу и какой страх может чувствовать народ к правительству, которое именем Бога и Его Церкви изреченные повеления обращает в ничто, повеления, которые честно и грозно содержал целый ряд правительств? Твоя воля и твоя власть. Но, великая государыня, мы, всероссийский синод, за себя и за всех архипастырей российской церкви – и настоящих, и будущих – дерзаем тебе сказать, что не примем участия в разрушении тобою православной церкви и собственного твоего престола.

– Слышите, гг. сенаторы! – к сенату обращает речь императрица. – По окончательному приговору архипастырей и церковь, и престол рушатся, если мы окажем справедливость нашему верному народу, окажем уважение к тому, что для него и есть, и искони было священо; ежели мы, даровав ему свободу креститься двумя перстами, почтим его предков, а почтив предков, удесатерим силу и крепость государства. По словам св. синода, и церкви, и престолу грозит разрушение, если мы будем управлять разумно, просвещенно, справедливо к человечеству. По св. синоду, и церковь, и престол крепки только насилием, проклятиями и смертельными казнями за слагание двух перстов и за молитву, и за именование в молитве Спасителя «Сыном Божиим» и т. д. Я могла бы продолжать бесконечно, но и наш язык, и ваш слух для нынешнего дня уже довольно натерпелись, теперь, гг. правительствующий сенат, извольте сказать нам ваше мнение.

– Всемиловейшая государыня! – отвечает сенат. – Сии три часа, в которые слух наш преисполнился слышанием твоих поистине боговдохновенных речей, и сей день, 15 сентября, впишется и на небесах, и в книгу жизни, и здесь, и на земле в сердцах твоего народа и его истории. А в объяснениях и воззрениях св. синода не находим ничего твердого и основательного. А потому ты поступишь как истинная мать Отечества, если всемиловейшим манифестом, помимо св. синода, объявишь российскому народу свободу креста и обряда, что ты уже обещала.

– Благодарю вас, правительствующий сенат, – отвечает государыня. – Благодарю за ваше решение: в нем выразилась и мудрость, и попечительность о благе народа, всегда вам свойственная. Но мы не принимаем вашего решения. Правда, как императрица, как прирожденная самодержавная представительница русского народа в делах его церкви и государства, как сам народ, мы и Богом, и народом облечены правом и властью устанавливать все для него полезное и освобождать его от всего ему несвойственного, и, прибавляю, принятием предлагаемой вами меры мы придали бы необычайный блеск и нашему царствованию и, что важнее, самому императорскому престолу. Но мы не желаем в глазах народа унижить св. синод, это – за неимением лучшего – высшее церковное учреждение, приняв не только помимо его, но и прямо вопреки ему, меру неизмеримо великой важности. Не желаем также положить на св. синод неизгладимого пятна в истории и, что считаем и того важнее, обнаружить пред очами иноземцев внутреннюю нашу неприглядность. У нас есть мера, которая не касается ни прав, ни убеждений св. синода, а между тем дает нам возможность исполнить сейчас данное нами обещание, – сегодня же дать верному нам русскому народу крестное слагание для крестного знамения, – обещание, которое мы торжественно и трикратно подтвердили знамением креста, и, как вы видели, не синодское слагание перстов, слагание, навязанное некогда русскому народу насилием, невежеством и изуверством, слагание, которое введено с проклятиями из проклятий, истязаниями и смертельными казнями. Народу, любезному нам русскому народу, не как невежественному и грубому, как думают о нем преосвященные отцы, дадим свободу обряда, в котором так сердечно и глубоко, как ни в одном из народов мира, развита вера во Христа и к престолу. Мера эта, гг. сенаторы, – отмена госу-

дарственной религии и полная свобода вероисповеданий. Секретарь, садитесь и пишите в этом смысле наш всемилостивейший манифест.

– Всемилостивейшая государыня! – бросившись на колена, возопили члены синода. – Что вы делаете? Вы разрушаете и церковь и престол!

– Что это за церковь? – возражает государыня. – Что это за церковь, которая только в покровительстве, только в мече императоров знает свое спасение и свою неделимость? Так вот, отцы, какова ваша церковь, а мы этого еще не знали! Не хочу быть в вашей церкви. Я знаю Церковь единую, соборную, апостольскую; знаю Церковь, в которой Господь Духом Своим Святым пребывает со Отцом и во веки пребудет, и которую не император мечем своим, а Господь Духом Своим сохраняет и во веки сохранит неодолимою от врат адových. Да, сегодня я в отечественную церковь уверовала; уверовала, что Господь и ее, как члена церкви вселенской, охраняет, а теперь меня св. синод ставит на месте Христа и Святого Духа, от меня, от нашего императорского меча, как папства, надеется неодолимости своей церкви? Я сохраняю неодолимость церкви. Стало быть, я более, я выше, я сильнее церкви! Нашему сердцу чужда эта преступная суетность. Разве не довольно нам великой империи, чтобы благотворить человечеству. Зачем посягать нам на Церковь, на достояние Христово? Мало нам нашей империи? Христос даст нам Константинополь, быть может, и весь Восток, если мы сохраним верность Ему. Я сильнее церкви; но если так, то стало быть сама я вне этой церкви. Вам, преосвященные отцы, с вашей церковью хорошо за мной, за нашей спиной, за нашим императорским мечем, а нам-то каково? Как я-то, бедная, останусь без церкви? Гг. сенаторы, в какой церкви вы быть полагаете? В той ли, неодолимость которой охраняю я, или в той, которую охраняет Христос? Если в последней, то приглашаю вас вместе искать, где она. Мы имеем Церковь вселенскую, но непосредственно в ней быть нельзя, непременно должна быть посредствующая, каковою до сего дня была наша поместная, отечественная русская церковь! Но русская церковь разделяется на две церкви: старую и новую. Новая церковь, старая церковь, а между тем обе российские? Как эти слова странны ушам, разительны для сердца! О, Провидение! Озари ты наши умы и сердца в сей священный для нас час! О, Провидение! Благодарю Тебя! Гг. сенаторы! Я всегда всем сердцем веровала Провидению, и Провидение сейчас не оставило нас: оно показало нам церковь и церковь никак не новую, а, несомненно, старую и притом отечественную, хотя и не синодскую. Вы сейчас слышали от представителей отечественной церкви, что неодолимость ее охраняют государи своим императорским мечем. Но такую ли она была до учреждения синода? Такая ли вера принята была нами, русскими, сначала? Никак! Стало быть, теперешняя наша государственная церковь есть новая. Когда же, с какого момента она стала такою? Какая катастрофа и когда могла обрушиться на нашу древнюю церковь? Ужели такая громадная реформа могла совершиться без протеста, без борьбы, не оставив в истории после себя ни памяти, ни следа? Куда девалась древняя наша церковь, – церковь, которую мы получили из рук просветителя земли русской, которая не впадала в Христорство, ставя у себя царей вместо Христа, которая веровала во Христа, как в своего Главу и Охранителя, которая поэтому была истинным членом вселенской Церкви и, как член последней, и сама была причастницей неодолимости, обещанной Господом? Где же ныне, где ныне наша древняя святая Мать? О, Провидение! Благодарю Тебя, сугубо благодарю, нет, благодарю стократно, нет – тысячекратно, нет – до конца дней моих не перестану благодарить Тебя и помнить, что Ты в сей день и час ярким светом просветило меня! Гг. сенаторы! Постараемся припомнить, не найдем ли мы в прошедшем чего-нибудь похожего на искомую катастрофу, а по ней какого-нибудь следа или слуха о древней нашей Матери. Господа, внимание! Что такое наш раскол? Что такое старообрядчество? Припоминаю события и их последовательность. Русский православный народ искони крестился двуперстно. Не перечисляю других обрядов. Все это было прекрасно, все превосходно, богоугодно и спасительно. Нам не было надобности до обрядности греков, а

равно и грекам до нашей. Обе церкви, – и греческая и наша, – жили в мире и общении. Восточные отцы, епископы, митрополиты, патриархи, бывая у нас на Москве, прославляли благочестие Руси, сравнивая с солнцем, освещающим Вселенную. Но вот, с восшествия на патриарший престол Никона, начинают наезжать на Русь греческие и киевские отцы. Посыпались сначала «зазирания» и «осуждения» нашего до этого года для самих греков честного и святого двуперстия. За Никоном последовал собинный друг его, государь Алексей Михайлович. «Зазирания и осуждения» превратились в прямые запрещения. Затем последовали анафема и проклятия; за ними – «телесные озлобления» или истязания и, наконец, гражданские казни, т. е. смертельные казни. Что же это значит? Значит, что эти «зазирания» встретили в русском народе возражения и негодования, коими правительство и церковное, и – уввы! – светское пренебрегло. Этого мало. Правительство перешло на сторону чужеземных агитаторов и авантюристов, правительство стало против своего народа и потребовало от него отречения от двуперстия и старого обряда, отречения от свободы, от своего достоинства, от предков, от благочестия и народности. Правительство в полном составе изменило Отечеству и этой измене потребовало от народа. Народ, разумеется, воспротивился, а правительство и при этом не усмиренномудрилось и свои требования поддержало церковными анафемами и проклятиями, на кои народный протест отвечал тем же, и справедливо. Ежели церковные анафемы и проклятия расточаются безрассудно, то они перестают быть святыми и церковными, а превращаются в ругательства. Если просвещенные и преосвященные архипастыри первые обратились к народу с ругательствами, то можно ли винить народ, если он отвечал тем же? Да и не обязаны ли были архипастыри за свое безрассудство получить должный урок? Правительству еще не поздно было одуматься, усмиренномудриться, воротиться назад, примириться с народным двуперстием и т. п. обрядами. Но не таковы были тогдашние времена: вместо исправления собственных ошибок, власть рассвирепела против протеста. От Никона и ждать иного было нельзя.

«Когда я ехал в Москву, – пишет в прощальном письме к царю Алексею Паисий Лигарид, митрополит газский, – то заранее восхищался тем, что увижу великого Никона, но, приехавши в первый раз и увидев его, то почел счастливыми тех, которые, родившись слепыми, не испытали несчастья видеть толикого зверообразного человека». Таков был Никон. Но не могу надивиться на царя Алексея Михайловича, надивиться его тупости, его бездушности и бессердечности. Никон и Алексей обрушились на народный протест истязаниями и смертельными казнями. Застонала русская земля от двух тиранов: «святейшего» и «тишайшего». И этот-то порядок, такие-то отношения обоих правительств к народу застаем мы по восшествии на всероссийский престол; на наших глазах преосвященные архипастыри продолжают свирепствовать, а раскол крепнет, несмотря на тиранию и ожесточения.

Отцы архипастыри! Куда вы завели, до чего вы довели и куда ведете вы свою отечественную церковь, российский православный народ и нас?

– Великая Государыня, – слышался голос со стороны синода, – истязания несколько не в наших руках, это не мы, а прежде бывшее правительства.

– Как? – возражает императрица. – А акт 15 мая 1722 г., разве не ваше дело? А телесные озлобления и гражданские казни, разве не вы освящали соборными определениями, и, государи, разве не по вашим внушениям и не по вашим усиленным настояниям ополчались против своего народа истязаниями и казнями? О, государи, и прежние, и будущие! Вот вам аттестат за ваше сообщничество с изуверами, палачами и злодеями! Но, гг. сенаторы, вот вопрос: благодать и истина Господня могут ли быть там, быть в той церкви, в которой стоят на месте святителей палачи и кровопийцы? Может ли быть Христос там, где свирепствуют толикие злодейства? Остановимся на минуту. И «зазирания и осуждения», и запрещения, и проклятия, все это было – и немыслимо, и безрассудно, и преступно; но все же еще борьба не выходила из пределов церковных. Но когда власти – и церковная, и светская, –

взялись за истязания и казни, тогда, очевидно, борьба вышла из пределов церковных, тогда власти стали вне церкви. Правда, за властями и собором волей-неволей пошло и большинство народа, все же прочь от церкви пошли; и это большинство – архипастыри и государи. Но куда мы денем протест, который не трогался с места и по этому одному заслуживает внимание и уважение. Истязаний и казней нет у Христа, не должно быть их и в Его Церкви. Христос на это не уполномочил апостолов и их преемников. Стало быть, за истязаниями и казнями архипастыри обратились не ко Христу, а к царю Алексею, приглашая его охранять впредь, на место Христа, неодолимость российской церкви, а Алексей имел слабость и безрассудство согласиться на это. И куда, куда уйдем мы от вопроса: где же, на которой из этих двух сторон остался Христос? На обеих он, разумеется, быть не может. Очевидно, на стороне протеста; как и зачем остался бы он в государственной церкви, когда и царь, и архипастыри с бесчестием вон из нее его выпроводили! Надеюсь, господа, что теперь вы ясно поняли, куда, почему и для чего мы намерены и сами идти, и вас приглашаем.

Но, гг. сенаторы! Догадываюсь о вашем смущении. Вам кажется, что, приглашая вас воротиться к старой Церкви, мы совращаем вас в раскол. Обязана объясниться. Всего сейчас сказанного нами о церкви не следует понимать буквально; церковью, в которой быть не хочу, называю я то представление, какое составили о церкви архипастыри. Мы же желаем той Церкви, какою она быть должна и какою быть ей требует народный протест; прямее и яснее, мы желали бы в нашей господственной церкви восстановить все то, без чего Церковь не может быть истинно Христовой, не может быть созидательницею государства и хранительницею престола; восстановить то, что у ней когда-то непременно было, то, что утрачено ею в несчастные для нее времена по безрассудству архипастырей и по зверонравности Никона, и по легковёрности и бессердечности Алексея Михайловича; но в обязанность вменяем себе ничего не скрывать от вас, гг. сенаторы, следовательно, не скрываю и других государей. Попробую разрешить эту, признаюсь, не малую для вас задачу. Мы в этом вопросе, так сказать, пойдем ощупью. Если бы нам, господа, нужно было восстановить какой-нибудь древний храм, лежащий в развалинах, засыпанный до половины мусором и густо заросший дикими растениями, то прежде всего нам следовало бы расчистить вход в этот храм, а затем, по мере расчистки от наростов, распознавать внутреннее устройство храма, назначение и размеры каждой его части и т. д. Мы так и сделали. Здание наше великой церкви (ибо о ней речь) мы освободили от векового мусора и от безобразивших ее пристроек и наростов в виде обрядовых запретов и клятв соборных, в Алексеевы годы произносимых, и далее в виде определений синода 15 мая 1722 года и целого ряда в этом направлении совершенных фактов и актов. Теперь, когда обозначился пред нами фасад этого здания, заглянем в его внутренность и постараемся по разным признакам догадаться, какова была у нас церковь до перестройщиков ее – Никона и Алексея, – носительница благодати и истины, народу учительница, государству собирательница, созидательница и объединительница, престолу крепость и слава. Сущность идей этой церкви было: сущная союзность и единость живая, деятельная и твердая. Чем этот сердечный союз был крепок? Правильностью отношений к народу государей и архипастырей, справедливостью, сердечной участностью к его нуждам, уважением к его народности и свободе, к свободе в церковном отношении, всей сполна и без уреза в государственном; по мере возможности, в частности, народ требовал от архипастырей благочестия и святости, от государей внимательного блюдения, чтобы гармония взаимно-свободных отношений в церкви между народом и архипастырями не нарушались.

Но вот настал Никон; признаюсь, личность, возбуждающая во мне отвращение. Счастливее бы была, если бы не слыхала об имени его. Он начал реформировать свою церковь, перестраивать ее по-своему. Какие же начала вложил он в основу своих перестроек? Безусловное подчинение народа духовенству, духовенства – архипастырям, архипастырей – патриархам. Подчинить себе пытался Никон и государя: он хотел сделаться папой. Порабо-

щение народа ясно сказывается в насильственном отнятии у него обряда его предков, подержанном клятвами, истязаниями и казнями; порабощение архипастырей – в незаконном единоличном низложении епископа коломенского Павл и глубочайшей тайной прикрытого умерщвления его; порабощение государей – внедрением в них убеждения, яко бы они обязаны мечем своим служить всевластительскому папе-патриарху, мечем смирять непокорение папе-патриарху народа и епископов. Что же вышло? Народ восстал за древнюю, под видом обряда Никоном окончательно разрушенную, апостольскую церковность, и за древнюю сердечную взаимно единость, основанную на вере, благочестии, любви и свободе. Восстал против соединения в лице патриарха обеих властей – и епископа, и царя. Никон внес смуту и разделения в отечественную мирную до него и целостно единую церковь. На одной стороне стали архипастыри со своими реформами и насилием, со своими триперстием и проклятиями, а с другой – народ с обычной всем народам инстинктивной склонностью охранять все унаследованное от предков, а прежде и паче всего свободу. Известный обряд, как и всякий предмет, даже обряд православный, богоугодный и спасительный, но в руках насильных и жестоких властей ставший поводом и орудием порабощения народа, становится ему ненавистным, как знамя и символ его порабощения. Входим в чувства народа, таковым для последнего должно быть и триперстие, навязанное нам греками при помощи проклятий, истязаний и смертельных казней. Для народа оно стало символом порабощения, для архипастырей – знаком его победы и торжества над народом. Ежели перенесемся на тот момент, когда совершались реформы и заглянем в совесть каждого из тех, кому пришлось отечественное двуперстие менять на указанное триперстие, то в большинстве увидим невежество, которое прямодушно поверило реформаторам, будто двуперстие есть обряд погрешительный, неправославный, небогоугодный и неспасительный, и благодушно последовало за правительством, затем – покорность из страха истязаний; то не похвально, а это уже совсем предосудительно. Теперь разберем, к которому из этих разрядов принадлежит предок каждого из нас, господина. Переменившим двуперстие на триперстие, во всяком случае не думаю, чтобы можно было каждому из нас гордиться его доблестью, и если при этом припомним, какая идея была соединяема со введением триперстия, то поймем и смысл, и правоту, и неодолимость, поймем родной протест и предупреждения против триперстия и неприязни его к тем, кого зовут «щепотниками». Наконец, Никон внес разлад и разделение между народом и престолом; до него государи были отцами своего народа, самодержавными охранителями православных на любви и свободе, на единности престола с народом в верности веры отцов, в верности обрядов и обычаев предков, основателей отношений государей к их народу. Никон из Алексея царя-отца сделал тирана и истязателя своего народа. И какого народа? Подобно которому по преданности к царю своему нет другого в мире. Что Алексей сделал из своего народа? Народ стал видеть в своих царях антихристов, и мы его не виним: народ подлинно испытал на себе руку последних. И для чего все это? Для чего Алексей изменил своему народу, изменил еще недавнему, еще памяtnому избранию народом отца его в царя Российской земли, изменил общим обязанностям всех царей? Чтобы угодить другу своему Никону, чтобы покорить под ноги его и иерархов, и духовенство, и народ, и затем чтобы из него и будущих патриархов создать врагов престолу и самодержавию. Удивляюсь царю Алексею, его недалекости: идет за Никоном, как провинившийся мальчишка за готовящимся его высечь учителем! Вот заслуга никоновской реформы пред престолом и самодержавием! Государство не могло и не должно терпеть над собой в пастырях второго великого государя, и первый, кто об этом догадался, был сын этого Алексея. Петр Великий заменил патриарха синодом. Может быть, мы этого не сделали бы, прямо говоря, ибо патриархи могли существовать; но государственная власть им не надлежит. Я бы этого не сделала. Но вот пред нами св. синод. Что же это за институт? Мы слышали сейчас, как

он нас, императрицу, ставит в своей церкви на место Христа, в нас, в нашем императорском мече уповая найти обещанную Христом неодолимость.

Поймите, св. синод еще не знает нас, не знает, в чем мы видим крепость и силу нашего царствования; еще не знает, как мы относимся к притязаниям некоторых государей, их императорским мечам. Св. синод еще не знает, как мы относимся к этому громадного значения деянию, образцового между царями, Алексея и к деланию вливающего в народный организм превратностей бездушного и бессердечного института. Св. синод еще не знает, как несвойственно нашему уму и сердцу, как мерзит нашей душе убивать в народе дух и жизнь, совесть, смысл и свободу. И вот он, синод, при первой встрече с нами уже спешит предложить нам быть его провидением и сохранять неодолимость. Чью неодолимость? Да старинных «зазираний», осуждений, истязаний и смертельных казней, и все это против двуперстия и тому подобных староотечественных обрядов, словом охранять неодолимость и старых, и нынешних нелепостей. Синод возводит нас в свое провидение, в провидение своей церкви! Так вот для каких услуг приглашает нас этот коллегиум. Но кто решится принять такой сюрприз? Чего же ждать церкви от этого лишенного жизни и мертвящего института, которому вручена вся власть царя; но об этом не сегодня.

«Вы, – говорит нам св. синод, – разрушаете церковь!» Гг. сенаторы! Мы только частью обозрели здание церкви, только частью уразумели, что такое церковь и что такое требуется от церкви великого народа, чтобы она подлинно была Церковью. Но вы уже догадываетесь, что наша отечественная церковь лежит в развалинах, если в церкви нашей что еще и осталось живого и берегущего ее жизнь, то это чуть ли не один народный протест. Ясно, что архипастыри сбивают нас с толку, страдая разрушением церкви, самими ими давно разрушенной.

«Вы, – говорит нам святейший синод, – разрушаете престол!» Но, господа, мы уже видели, какие услуги престолу оказало российское архипастырство со времени Никона, какую пропасть изрыло оно между престолом и народом. Все то, что в те времена было в русском народе лучшего, великодушного, живого, энергичного, все стало на сторону протеста. А последовавшие за Никоном государи обременили себя легковерием, а народ заставили видеть в них тиранов и, как сказали мы, – антихристов.

Господа! Для вас ясна правость протеста. Совесть сама говорит вам, что не новая, не синодская церковь, а народный протест остался на месте, что не протестующий народ, а архипастыри, пренебрегшие народным протестом, лишившие последнего своего общения, сами стали раскольниками, и что, наконец, все обвинения, возводимые на старообрядчество, все ложь, клевета, внушаемые злобою оскорбленной гордости архипастырей. Но вас, быть может, смущает мысль: если народный протест прав, то как же Христос покинул его, оставив без единого епископа и, следовательно, вне церкви, тогда как сторона смутников и раздорников, оставаясь с иерархией, имеют права носить имя церкви? Каким образом Господь, вопреки обещанию пребывать с верными ему, покинул подлинных носителей церковности и, следовательно, верных ему, истинных стоятелей за самую Церковь, и таким образом, как бы допустил врата ада одолеть? О, Провидение! Благодарю, благодарю, благодарю Тебя! Смущение ваше, гг. сенаторы, надеюсь разъяснить краткими словами. Оставив свой протест без епископа, Господь не покинул его. Во-первых, протесту он предоставил честь сохранить неодолимость своей невесты, российской церкви, нашей святой Матери. Не будь протеста, церковность русской церкви навсегда представила бы миру зрелище совершенных развалин, в которых ее ныне видим. Хотя церковность ее и распадалась, хотя и лежит в развалинах, но пока не убит, пока жив народный протест, никто не имеет права сказать, что церковь российская совершенно пала, совершенно перестала жить. Погрешила не она, не российская церковь, которая есть член святой апостольской Церкви, а согрешила одна ее иерархия. Во-вторых, вся иерархия пала, практически верным церковности остался один народ и даже только

часть народа. Поняли ли вы, господа, все значение, все достоинство, всю святость великого народного старостояния, громадность его заслуги перед нашей отечественною церковью и Церковью вселенскою? Да, народ простой, необразованный народ дает величайший урок в церковности своему архипастырству: последнее оказывается упрямым и злым; на протест сыплются проклятия, истязания и казни; а он, народ, – подивитесь, господа сенаторы, – стоит твердо, непоколебимо целые века! Зрелище, поражающее своим величием, зрелище, достойное не земли, а неба. Ад и Христос в нашей отечественной русской церкви стоят в открытой борьбе: за первым вся мощь, вся злоба, все козни мира в лице духовных правительств, в лице обманутых царей и архипастырей; за вторым – безмолвное терпение и терпеливое бессловие. Кто в этой борьбе одолеет? Я не была бы искренно верующею дочерью Церкви, я была бы недостойна великого народа русского, носящего имя святой Руси, если бы на минуту усомнилась в победе Христа, в победе народа, в победе протеста, в победе старообрядчества. О, Провидение! Пусть обманутые архипастырями цари с самими архипастырями удесятерят злобу и козни свои, пусть эта борьба, борьба между исконным злом и вечным добром, между адом и небом, продолжится еще на сто, еще на двести лет. Чем тягчее испытания, чем продолжительнее страдания, тем внушительнее победа, тем памятнее и поучительнее урок, тем блистательнее слова Христа, Церкви и протеста... Но только, гг. сенаторы, мы за себя ручаемся, что не будем орудием ада против любезно-верного нам народа, против голоса великой российской церкви, против Христа.

Поняли вы, наконец, гг. сенаторы, что значит решительность уйти из синодской исповедуемой казенной церкви и искать старую, что все вам показалось приглашением идти за нами в раскол? Это значит присоединиться к протесту, разумеется, присоединиться к протесту против разрушения задуманной союзности между народом, между престолом и архипастырями. Мы восстановим в нашей великой церкви все, что разрушено в ней в варварские, несправедливые насильственные времена, все, что разумеет мы в истинно древней Христовой и апостольской, православной католической церковности. Мы безвозвратно на все времена утверждаем право каждому верноподданному слагать персты для крестного знамения, как ему угодно, а каждой православной приходской общине употреблять в ее приходском храме тот из обрядов, который ей любезен. За каждой приходской общиной и епархией мы утверждаем право выбрать по сердцу пастыря, полагать на него обязанность наблюдать за исполнением требований, ответы за каждый его шаг, а в случае упорного уклонения от обязанностей удалять или смещать по своим приговорам. Только таких пастырей мы будем знать как истинных пастырей и подлинных представителей их общин и епархий.

Тогда-то, гг. сенаторы, нам можно будет управлять народом, Провидением, вверенным нам. Народная жизнь в начальных, элементарных ее проявлениях будет расти, цвести и приносить плоды сторицею под святым и животворящим пестунством Самого Христа и Его Церкви, которая тогда будет матерью и кормилицей и нянькой народа, а пастыри ее – и попечителями, и учителями, и судьями, и отцами. Тогда-то сердечный союз между народом и престолом, союз, указуемый самой натурой вещей, союз между Церковью и государством, Самим Господом заповеданный и благословляемый только в Российской империи, только между русским православным народом и его царями возможно осуществиться на радость небесам, на удивление миру и на страх нашим врагам!

– Великая государыня! – отвечают члены синода. – Сам Бог говорит твоими устами, преклоняемся пред верховностью твоих уроков. Содрогаемся последствий, но уступаем двуперстие твоей непреклонной воле. Твоя непреклонная решимость на крайние меры будет нам оправданием пред нашей совестью и церковью, и потомством. Но, государыня! Забудь, забудь о свободе исповеданий, забудь обо всем, что мы сегодня от тебя выслушали, дозволей и нам забыть все это.

– Благодарю вас, преосвященные отцы! Со временем поймете, какую услугу церкви, государству и престолу оказали вы вашим согласием. На этот раз принимаю от вас для нашего народа одно двуперстие. Все остальное до времени оставляю на успех ваших совестей. Высоко держите свое знамя, свое дорогое 13 мая 1667 года. Мы желали бы, чтобы подвиги ваши в этом направлении, хотя по временам, делались нам известными; особенно занимает нас определение вашего собора о Иисусовой молитве. Уверяем вас, что каждый раз, как только будем слышать о подвигах ваших, веселость будет облетать до нас от кабинета и гостиной до самых прачечных. Но забыть сказанного нами не дозволяем. Напротив, гг. сенаторы! Прошу каждого из вас сохранить память о сегодняшней нашей конференции, чтобы нам самим напомнить о ней, если бы нам когда-нибудь, паче чаяния, изменила память. Секретарь, пишите:

«На общей конференции сената и синода 15-го сентября 1763 года определено (есть): тех, кои церкви Божией во всем повинуются (есть), в церковь Божию ходят (есть), отца духовного имеют (есть) и все обязанности христианские исполняют, а только двуперстным сложением крестятся (есть), таинства ея не лишать (есть), за раскольников не признавать (есть) и от двойного подушного оклада освобождать» (есть).

Публикуется по: Речь императрицы Екатерины Великой на общей конференции Синода и Сената. 15 сентября 1763 года. М., 1912.

**Георгий (Конисский), Архиепископ Могилева
Речь государыне императрице Екатерине II-
й, произнесенная при встрече Ее
Величества в городе Мстиславле, во
время ее путешествия по империи**

1787 г.

Пресветлейшая Императрица!

Оставим астрономам доказывать, что Земля вокруг Солнца обращается: наше Солнце вокруг нас ходит, и ходит для того, да мы в благополучии почиваем. Исходиши, Милосердная Монархиня, яко жених от чертога твоего; радушия, яко исполин тещи путь. От края моря Балтийского до края Евксинского шествие Твое, да тако ни один из подданных Твоих укрыется благодетельныя теплоты Твоей. Хотя же мы и покоимся Твоим беспокойством, и не горькими хождениями Твоими сидим сладко, всяк под виноградом своим и под смоковницей своей, якоже же Израиль в дни Соломона: однако солнечнику цвета подобясь, туда и очи, и сердца наши обращаем, аможе течение Твое.

Тецы убо, о Солнце наше! спешно; тецы исполнимы стопами во всех: стой, Солнце, и не движись, дондеже вся, великим Твоим намерениям противная, торжественно победиши!

Публикуется по: Слова и Речи Георгия Конисского, архиепископа Могилевского. Могилев на Днепре. 1892. С. 242.

Георгий Конисский (1717–1795) – архиепископ белорусский, философ, писатель. В 1787 году, по пути в Тавриду, в Мстиславль прибыла Екатерина II. Для императрицы был построен деревянный дворец. Ее встречали колокольным звоном и пушечной стрельбой. Архиепископ Георгий Конисский выступил с приветственной речью, которая была переведена на латинский, польский и французский языки. Речь оценивалась современниками, как образец красноречия.

Александр I

Речь, произнесенная при открытии сейма царства Польского

15 марта 1818 г.

Представители Царства Польского!

Надежды ваши и МОИ желания совершаются. Народ, который вы представлять призваны, наслаждается, наконец, собственным бытием, обеспеченным созревшими уже и временем освященными установлениями.

Одно забвение прошедшего могло произвести ваше возрождение. Оно непреложно постановлено было в мыслях МОИХ с того времени, когда Я мог надеяться на средства к приведению оного в исполнение.

Ревнуя ко славе МОЕГО Отечества, Я хотел, чтобы оно приобрело еще новую.

И действительно Россия, после бедственной войны, воздав по правилам Христианской нравственности добро за зло, простерла к вам братские объятия, и из всех преимуществ, даруемых ей победой, предпочла единственно честь восстановить храбрый и достойный народ.

Содействуя сему подвигу, Я повиновался внутреннему убеждению, коему сильно вспомоществовали события. Я исполнил долг, начертанный одним внушением тем драгоценнейшим моему сердцу.

Образование, существовавшее в вашем крае, позволяло МНЕ ввести немедленно то, которое Я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом МОИХ помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь Я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению МОЕМУ вверенные.

Таким образом, вы МНЕ подали средство явить МОЕМУ Отечеству то, что Я уже с давних лет ему приготавливаю, и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости.

Поляки! Освободясь от гибельных предубеждений, причинивших вам толикие бедствия, от вас ныне самих зависит дать прочное основание вашему возрождению.

Существование ваше неразрывно соединено с жребием России: к укреплению сего спасительного и покровительствующего вас союза, должны стремиться все ваши усилия. Восстановление ваше определено торжественными договорами. Оно освящено законоположительной Хартией. Ненарушимость сих внешних обязательств и сего коренного закона назначают отныне Польше достойное место между Народами Европы. Благо драгоценное, которого она долгое время вотще искала среди самых жестоких испытаний.

Поприще трудов ваших открывается. Министр внутренних дел предложит вам нынешнее положение управления Царства. Вы увидите проекты законов, долженствующих быть предметом ваших рассуждений. Они имеют целью постепенное усовершенствование. Учреждения Финансов Государства требуют еще сведений, которые время и точное измерение ваших средств могут только Правительству доставить. Законоположительное управление постепенно применяется ко всем частям Правительства. Судная часть образуется. Проекты Гражданского и уголовного законодательства будут вам предложены. Я утешаюсь уверенным, что вы, рассмотрев их со всевозможным вниманием, предупредите постановить законы, которые будут служить к ограждению драгоценнейших благ: безопасности лиц ваших, собственности и свободы ваших мнений.

Не имея возможности посреди вас всегда находиться, Я оставил вам Брата – искреннего МОЕГО друга, неразлучного сотрудника от самой юности. Я поручил ему ваше войско. Зная мои намерения и разделяя МОИ о вас попечения, Он возлюбил плоды собственных трудов своих. Его стараниями сие войско, уже столь богатое славными воспоминаниями и воинскими доблестями, обогатилось еще с тех пор, как он им предводительствует, тем навыком к порядку и устройству, который только в мирное время приобретается и приуготовляет воина к истинному его предназначению.

Один из достойнейших Полководцев ваших представляет Лице Мое среди вас. Поседевший под знаменами вашими, разделяя постоянно счастливую и злополучную участь вашу, он не переставал доказывать преданность свою к Отечеству. Опыт оправдал в полной мере выбор Мой.

Не взирая на усилия Мои, быть может, что следы бедствий, угнетавших вас, не все еще заглажены. Таков закон природы. Благо творится медленно, совершенство же недоступно слабости человеческой.

Представители Царства Польского! Потщитесь достигнуть высоты вашего предназначения. Вы призваны дать великий пример Европе, устремляющей на вас свои взоры.

Докажите своим современникам, что законно-свободные постановления, коих священные начала смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, не суть мечта опасная; но что, напротив, таковые постановления, когда приводятся в исполнение по правоте сердца и направляются с чистым намерением к достижению полезной и спасительной для человечества цели, то совершенно согласуются с порядком и общим содействием, утверждают истинное благосостояние народов.

Вам предлежит ныне явить на опыте сию великую и спасительную истину. Да будет взаимное согласие душ вашего собрания, а достоинство, хладнокровие и умеренность да ознаменуют ваши прения.

Руководствуясь единственно любовью к Отечеству, очищайте мнения ваши от всех предубеждений; освобождайте их от зависимости частных или заключительных выводов, и выражая их с простотой и прямотою, отвергайте обманчивую прелесть, столь часто заражающую дар слова.

Наконец, да не покидает вас никогда чувство братской любви, нам всем предписанной Божественным Законодателем!..

Таким образом, ваше собрание приобретет одобрение и признательность Отечества и то общее уважение, которое подобное сословие заставляет к себе ощущать, когда представители народа свободного не обезображивают священного звания, на них возложенного.

Первейшие Чиновники Государства, Сенаторы, Послы, Депутаты! Я изъяснил вам Свою мысль Я показал вам ваши обязанности.

Последствия ваших трудов в сем первом собрании покажут МНЕ, чего Отечество должно впредь ожидать от вашей преданности к нему и привязанности вашей ко МНЕ; покажут МНЕ, могу ли, не изменяя Своим намерениям, распространить то, что уже МНОЮ для вас совершено.

Вознесем благодарение к ТОМУ, который Единый просвещает Царей, связует народы братскими узами и ниспосылает на них дары любви и мира.

Призовем ЕГО: да благословит ОН и да усовершенствует начинание наше.

Публикуется по: Александр I; имп.; 1777–1825. Речь произнесенная его императорским величеством при открытии сейма Царства Польского в 15/27 день марта 1818 года в Варшаве. [Варшава], [1818].

Одним из итогов Венского конгресса, завершившегося подписанием генерального акта 9 июня 1815 г., между Россией, Пруссией и Австрией были поделены польские земли. Пруссия получила Познанский и Быдгоцкий департаменты Варшавского княжества, из которых образовалось Великое княжество Познанское, а также город Гданьск; Австрия получила район Велички. Краков и его окрестности стали «вольным городом» под протекторатом Австрии, Пруссии и России. Оставшаяся территория была присоединена к России и составила Королевство (Царство) Польское с территорией около 127 700 кв. км и населением 3,2 млн человек. Желая заручиться расположением польского общества, Император Александр I сразу же после окончания военных действий амнистировал польских офицеров и солдат, воевавших у Наполеона против России. В 1814 г. польское войско вернулось домой из Франции. 17 ноября 1815 г. Император Александр I даровал полякам статус суверенного Царства (Королевства) Польского с собственной Конституцией. Конституция сохраняла традиции Речи Посполитой, которые нашли свое выражение в названиях государственных учреждений, в организации Сейма, в коллегиальной системе государственных органов, в выборности администрации и судей. **15 марта 1818 года**, выступая на открытии польского Сейма – Законодательного собрания, действующего в соответствии с дарованной Польше в 1815 году Конституцией, российский император Александр I пообещал «распространить спасительное влияние законно-свободных учреждений» на всю империю, т. е. ввести Конституцию.

Николай I

Речь депутатам города Варшавы при приеме их во дворце Лазенки

4 октября 1835 г.

– Вы хотели меня видеть? Вот я. Вы хотели говорить мне речи? – Этого не нужно. Я избавлю вас от лжи. Да, господа, желаю избавить вас от лжи. Знаю, что вы не чувствуете того, в чем хотите меня уверить, – знаю, что большая часть из вас, если бы возобновились прежние обстоятельства, были бы готовы опять то же начать, что делали во время революции.

Не вы ли сами за пять, за восемь лет пред сим говорили лишь о верности, преданности; не вы ли уверяли меня в привязанности вашей, – и что же? Спустя несколько дней вы нарушили ваши клятвы, допустили дела ужасные!

Император Александр I сделал для вас многое, может быть более, чем русскому императору следовало, – говорю так потому, что так думаю. Он осыпал вас благодеяниями, он пекся об вас более, чем о своих подданных настоящих; он поставил в самое счастливое, самое цветущее положение; и вы за все это заплатили ему самой гнусной неблагодарностью; вы никогда не умели довольствоваться дарованными вам выгодами и сами разрушили свое благоденствие; вы уничтожили, попрали ваши постановления. Говорю вам истину, чтобы единожды навсегда вразумить вас о взаимных наших отношениях, и чтобы вы знали, чего должны держаться.

Не словам, но действиям вашим я поверю: надобно, чтобы раскаяние шло отсюда. (*Государь указал на сердце*). Вы видите, что я говорю вам хладнокровно, что я спокоен, не сержусь на вас; я давно забыл оскорбления против меня и моего семейства; мое единственное желание заплатить вам за зло добром, сделать вас счастливыми вопреки вам самим. Я дал в этом клятву пред Богом и никогда клятв своих не нарушаю.

Фельдмарша, здесь присутствующий, исполняет здесь мои намерения, помогает мне в моих видах и также печется о вашем благоденствии (*при этих словах все депутаты поклонились фельдмаршалу. Государь продолжает*):

Что доказывают эти поклоны? Ничего! Прежде всего, должны вы исполнять ваши обязанности, должны поступать, как поступают честные люди. Вам представляются два пути: упорствовать в мечтах о независимой Польше или жить спокойно, верными подданными, под моим правлением. Если вы упрямо сохраняете мечты обо всех химерах, об отдельной национальности, о независимой Польше, о всех этих несбыточных призраках, вы ничего не сможете сделать, кроме того, что навлекете на себя новые тяжкие бедствия.

Я воздвигнул Александровскую цитадель и объявляю вам, что при малейшем волнении – разгромлю ваш город; уничтожу Варшаву – и уж конечно, не я выстрою ее снова.

Мне тяжело с вами говорить, тяжело государю обращаться так со своими подданными; но я говорю для вашего блага; вам, господа, подумать о том, чтобы заслужить забвение прошедшего.

Только вашим поведением, вашей преданностью к правительству можете вы достигнуть этого. Нет в мире такой полиции, которая могла бы воспрепятствовать преступным сношениям с иностранцами; но вам самим принадлежит этот надзор; от вас зависит удалить зло. Дайте детям вашим хорошее воспитание, утверждайте их в правилах религии и верности к их государю.

Вот средства, которыми вы удержитесь на пути истинном. И тогда среди всех смятений, потрясающих здание общественности, вы будете пользоваться счастьем, живя покойно

под щитом России – мощной, неприкосновенной, бодрствующей за вас; и верьте мне, господа, принадлежать к русской земле и пользоваться ее покровительством – есть точно благополучие. Ведите себя хорошо, исполняйте все ваши обязанности, и тогда попечение мое распространится на всех вас, и, несмотря на все прошедшее, правительство всегда будет печься о вашем благоденствии и счастье. Помните обо всем том, что я вам говорил.

(Лишь только один из представителей варшавской делегации хотел говорить речь и начал: «Sire...»)

– Остановитесь, – сказал государь, – я знаю, что вы хотите сказать, послушайте лучше меня. *(Депутаты начали кланяться)*.

– Не кланяйтесь, – вы точно также кланялись в 1829 году и бесстыдным образом изменили, пренебрегли благодеяниями Александра, который не жалел для вас и богатства своей земли, хорошую страницу вы оставили в истории. Вы сами для себя построили цитадель, теперь помните, что при малейшем возмущении в 24 часа Варшавы не будет, и я уже в другой раз ее не построю. На немцев и французов – не надейтесь; они вам не помогут; но вы можете надеяться на мою милость; чтите законы, любите своего монарха, уверяю вас, что только в таком случае будете счастливы, и старайтесь детям вашим дать иное воспитание».

Публикуется по: Русская старина, 1872, т. 6., октябрь. С. 391–393.

Польское восстание 1830–1831 годов – «национально-освободительное» (в польской и советской историографиях), либо «антирусское» (в русской дореволюционной) восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Литвы, частично Белоруссии и Правобережной Украины. Началось 29 ноября 1830 года и продолжалось до 21 октября 1831 года под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года, то есть не просто сецессия территорий с преимущественно польским населением, но и территорий, населенных белорусами и украинцами, а также литовцами. В результате подавления восстания 26 февраля 1832 г. явился в свет «Органический статут», согласно которому Польское Царство объявлялось частью России, упразднились сейм и польское войско. Старое административное деление на воеводства было заменено делением на губернии. Фактически это означало принятие курса на превращение Царства Польского в русскую провинцию – на территорию Королевства распространялись действовавшие во всей России монетная система, система мер и весов. В своей речи император Николай I еще раз подчеркивает невозможность уступить требованиям независимой Польши и утверждает, что любые попытки таких требований будут жестоко подавлены.

В. А. Кокорев

Речь на торжественном обеде

28 декабря 1857 г.

Свет и тьма в вечной борьбе. Одолевает свет – настанут красные дни, выпрямляется человечество, добреет, умнеет, растет.

Одолевает тьма – настанут горькие дни, иссыхает человечество, вянет тело, ноет дух, умалывается сила народная.

Тьмы всегда и везде более, чем света, но зато сила света такова, что луч его сразу освещает огромное пространство, и тьмы как будто не бывало.

Присутствие такого живительного света мы чувствуем теперь на самих себе, и его луч исходит прямо из сердца Александра II.

Свет этот выразился в желании царя вывести наших крестьян из того положения, которое томило их, и вместе с ними нас, почти три века; этим светом озарена и согрета вся Русская земля.

Вот под каким освещением приближаемся мы к новому, 1858-му году. Для пятнадцати миллионов людей восходит заря гражданской полноправности. От этого и мы все вступаем в новую жизнь, перерождаемся; пульсы наши бьют иначе: ровно, твердо, сильно.

Мы можем сравнить теперь свое положение с людьми, подошедшими к горе, по которой надо взбираться кверху. Немало на этом непротоптанном пути мы встретим колючих растений. Но нам ли бояться труда и препятствий в то время, когда на горе стоит наш Царь и призывает нас к себе? Мы видим это сквозь открывшиеся промежутки частокола. И та гора, к которой нас повело время, – есть гора упования. Царь уповает на народ, народ уповает на Царя. Вот в этом взаимном уповании и состоит русская особенность и резкая разница между Европой и Россией. Пусть теперь углубится Европа во внутренний смысл наших душевных настроений, – ведь везде от этих настроений происходят все прочие явления в жизни народов.

Европа в своих движениях приходила к пропасти смутной неизвестности; мы пришли к упованию; значит, мы читали историю европейских народов внимательно и обратили в свою пользу самую нашу запоздалость.

Обратимся к делу, к некоторым подробностям нашей радости. Теперь такое время, в которое требуются не фразы и возгласы, а делоизложение, взгляд, обсуждение предметов. На первый раз, быть может, это будет даже неинтересно для слушателей. Но что делать? Надо привыкать: наш детский возраст прошел, и потому игрушки в сторону.

Первое и главное зерно обновления – судьба пятнадцати миллионов крестьян – вложено Царем в общественную мысль. Да ниспошлет провидение всем открывающимся комитетам чистоту в намерениях и ясность в воззрениях, а главное, такую простоту в определении новых начал, которая была бы понятна всем и выражала бы очевидную удобоприменимость в жизни. Этому трудному делу вернейший друг и помощник – светозарная гласность мнений, сообщаемых в каждой местности во всеобщее сведение широко совещательным печатным органом. Затем нужно общее участие всех сословий, не на словах только, но и на самом деле. Перехожу к тому, насколько это дело касается купцов.

Когда новый порядок сообщит довольство крестьянам, тогда вся торговля разовьется и примет другие размеры, значит, и мы, купцы, будем иметь новую огромную выгоду. За что же мы эту выгоду получим даром, без всякого участия в общем деле нового устройства крестьян? Ведь нам будет стыдно смотреть и на дворян, и на крестьян; на последних тем

будет стыдно, что многие из нас сами недавно вышли из крестьян, и я, говорящий эти слова, имею родных в крестьянском сословии. Не вправе ли будут крестьяне сказать: «а вот там, в городах, есть купцы-богачи, да они забыли о нас, ничем не помогли, никто не расстался ни с малейшею частицею своих богатств в пользу созидания общего богатства Земли Русской». А ведь быт крестьян нам знакомый, чем кому-либо; наши приказчики живут в деревнях, стоят с крестьянином лицом к лицу и на рынке, и на гумне и сообщают нам верные и свежие известия, так сказать из вчерашней жизни народа. А быт помещиков разве мы не знаем? Знаем вдоль и поперек. Каждый приказчик от хлебных торговцев знает даже те числа, в которые нужны помещику деньги на взнос в Опекунский Совет или на другие надобности, и в это время он является к нему для покупки хлеба. То же самое знание внутренних подробностей помещичьего и сельского быта мы имеем и по прочим статьям, как-то: по торговле салом, шерстью, льном, пенькой, по найму рабочих, по движению обозов на торговых трактах, и т. д. Есть такие тракты, по коим перевозится товаров на сотни миллионов, а они не известны ни в одном печатном дорожнике; их проложила прямоком сама потребность, минуя все дальние пути, сочиненные одним ложным умозрением. Но почему же бы из всех этих знаний не высказать слово сущей правды? Зачем мы молчим? Говорить не привыкли. Попробуемте.

Крестьянам, обитающим на помещичьих землях, назначено окупить деньгами или трудом стоимость их жилища и огородов. Сверх того, за ту землю, которую они получают от помещиков под поля, они должны обрабатывать землю владельца, то есть, ту, которую они и ныне обрабатывали. Очевидно, крестьянину прибавляется новый труд – отработать стоимость своей избы и огорода. Вот и готов случай купечеству принять участие в деле устройства судьбы крестьян. Почему не открыть между всеми русскими купцами подписку в том, кто и за сколько крестьянских жилищ заявит желание заплатить деньги помещикам? Москва должна подать пример, а ему последует и вся Россия; Москва и подала бы этот пример, но ей мешает отвычка от самостоятельности. Означенным платежом денег справедливость требует выкупить только те крестьянские жилища, кои находятся в имениях мелкопоместных владельцев, ибо им, при настоящем перевороте, необходимы денежные средства для насущных потребностей жизни. Таким образом, купечество, содействуя справедливой развязке настоящего важного жизненного для России вопроса, сделает пользу и мелкопоместному дворянству, и крестьянам.

Будем откровенны и искренни в такие великие дни отечественных событий и скажем правду. Ведь все наши капиталы сложились главнейше от дворян и крестьян. Это замечание всего более относится к винным откупщикам; их капиталы составились уже чисто из трудовых крестьянских денег. Какой прекрасный случай возблагодарить крестьян за богатство, ими же сообщенное! Если все откупщики пожертвовали бы, примерно, десять миллионов рубл. сер., то это нисколько не ослабило бы их оборотов, это едва ли составило бы половину прибылей, полученных в текущем 1857 году, по случаю огромного распространения в народе кредитных билетов; но за то, как бы это подвинуло вперед дело самобытной собственности крестьян.

А разве биржи Петербургская, Рижская и Одесская, получающие столько барышей от перепродажи потового труда крестьян, произведений Русской земли, отстанут в этом деле?

А разве золотопромышленность, выкопавшая себе богатство мозолистыми руками тружеников, останется хладнокровною зрительницей?

А владельцы доходных домов и других имений и заводов, имеющие доходы положительные и прочные, не скорее всех поспешат уделить какой-нибудь процент на дело отечественной славы и пользы?

Да что много толковать! Никто не откажется от участия. Первая гильдия охотно примет лет на десять двойной платеж, вторая и третья тоже пойдут вслед за нею на некоторую прибавку, – да, словом, все понесут свою лепту на дело общего добра.

Вот при таком сочувствии, при такой-то спайке всех сословий, истинною любовью, выражаемую жертвами, устроится дело в обоюдной пользе помещиков и крестьян, устроится от того, что соберется много денег, кои необходимы для развязки этого вопроса в губерниях: Московской, Ярославской, Вологодской, Костромской, Владимирской, Новгородской, Тверской, Псковской и северных уездах Смоленской. В губерниях этих половина дохода извлекается помещиками из их личного права на крестьянина: треть народонаселения выходит на заработки, платя оброк за то, чтобы помещик не потребовал домой; следовательно, здесь переложение всех доходов с имений на арендную плату за землю не может быть применено вполне. Часть убытков, кои понесет владелец имения, должна быть пополнена деньгами, которые и должны явиться от тех, кого этот вопрос не задевает, а кому, напротив, доставляет выгоду.

Другое дело – губернии хлебородные и черноземные. Там помещики будут в большой выгоде от нового порядка. Вот живые доказательства: недавно я купил в Орловской губернии 2200 десят. земли у гр. Р. за 100 тысяч р. с. и отдал эту землю в аренду за 9 тыс. в год, тогда как имение с крестьянами никогда не может дать таких процентов. В той же губернии мне предлагает кн. О. 3500 десятин земли, по той же расценке, как я купил у гр. Р.; но я не мог на это согласиться потому только, что на этой земле живут 500 крестьян, значит – и нет возможности приобрести эту землю купцу, а владение под чужим именем никому не по нутру. Надобно вам сказать, что за 500 лиц крестьян никакой не полагалось цены. Из этого очевидно, что в хлебородных губерниях желающих арендовать землю будет более, чем земля того требует, и оттого арендные цены будут возрастать к выгоде землевладельцев; напротив, в губерниях северных многие оставят землю и обратятся исключительно к одним ремеслам и работам вне своих местностей. Здесь доходы помещиков от земли не возместят доходов, ныне ими получаемых. Здесь-то вот и нужно пожертвование. Мы всегда скупы на такие расходы, где выгода отвлеченна; но в делах очевидной пользы никто и никогда не затрудняется. Сделать выгоду от устройства крестьян очевидною для всех – есть дело литературы: тогда возбудится во всех желание участвовать в пожертвованиях. Если бы нам кто-нибудь сказал: «Всем вам не нравится винный откуп, его влияние задевает почти каждый дом, он задерживает развитие скотоводства, мешает образованию фермерного хозяйства, требующего барды, следовательно и свободного образования маленьких винокурен, а фермерное хозяйство нам теперь необходимо, нужно во всех северных губерниях: оно бы совершенно пополнило все убытки помещиков от уничтожения крепостного права, и расширило бы земледельцев. Ну, что дадите за уничтожение откупа? Разом бы ответили все удовлетворительно, потому что выгода ясна для всех: трактирщик бы сказал: я даю 500 р., фабрикант 200 р., торговец 8 р., мельник 10 р., крестьянин 2 р. в год, да денег бы набралось без откупа вдвое более, чем от откупа, а вино бы сделалось принадлежностью народа, как всякий товар: мука, масло и т. п. Сколько сотен тысяч людей занялись бы его распродажей!»

Точно так и в деле преобразования быта крестьян. Когда поймут все ясно общую пользу воззвания нас к новой жизни, тогда не будут жалеть никаких жертв на то. Для уяснения дела нужен прямой разговор о новом направлении сельского хозяйства и о всех недостатках нынешнего устройства.

Из всего этого следует один естественный вывод, которого никак не может обойти разум: устройство дела зависит от одной лишь гласности.

Зачем держать в секрете такие благодетельные предположения и желания, известность о которых действовала бы успокоительно на многих, как, например: предположение некоторых богатых землевладельцев подарить своим крестьянам усадьбную оседлость; другое, еще более широкое предположение со стороны богатейших, – дать бедным и часть земли, чтобы было можно на ней попахать и коровку покормить, дабы чрез это пособие и бедные крестьяне обратились в зажиточных? Мы не будем называть теперь славные имена этих

истинных благодетелей; но придет время, когда все почтут за обязанность и долг воздать им дань признательности от лица всей Земли Русской.

А желание купцов покупать населенные земли для отдачи их в аренду крестьянам, само собой разумеется, без всякого права на вмешательство в частную жизнь крестьян, принесло бы удивительную пользу. Сколько бы мелкопоместных дворян сейчас же получили деньги за свои поместья?

Купцы имеют обычай жертвовать огромные суммы на поминки. Какое славное назначение для этих сумм!

О нашем времени наши дети и внуки скажут: знаменателен был 1858 год. Царь, в уповании на дворян и народ, произнес желание устроить положение крестьян. Крестьяне с твердым упованием ждали покойно развязки этого дела; дворяне расстались с своим правом и променяли прежнее неблагозвучное выражение «душевладелец» на человеческое слово «землевладелец», сделав это также с твердым упованием в то, что от общего развития жизни доходы их от земли возместят личные, подушные оброки с крестьян; а купцы сами собой вызвались заплатить небогатым дворянам за жилища крестьян. Все помогали делу по мере своих сил.

При таком только общем действительном сочувствии рост наш будет совершаться правильно в общем росте человечества, и тогда все кривые, дряблые побегии опять срастутся с своим корнем – с народом. От этого срастания мы почерпнем из чистой натуры народа ясность и простоту воззрений.

Тост за драгоценное здоровье первого примеродателя в деле гражданского мужества, первого воодушевителя на пути к свету, за сердечного нашего Царя Александра Николаевича!

Публикуется по: Русский вестник. 1957. № 12 (дек.). Кн. 2. С. 210–218.

Одним из наиболее ярких и характерных эпизодов цензурной политики конца 1850-х гг. стало увольнение от должности в декабре 1858 г. московского цензора Н. Ф. фон Крузе. Однако отношения Крузе с начальством еще более обострились после того, как в 1857 г. в последнем номере «Русского вестника» в приложении «Современная летопись» появилось сообщение о торжественном обеде, состоявшемся в Московском купеческом собрании 28 декабря. Сам обед, в котором приняли участие около 180 человек, носил подчеркнуто верноподданнический характер и являлся своего рода демонстрацией поддержки московским обществом незадолго перед тем опубликованных рескриптов В.И. Назимову и П.Н. Игнатьеву. В тостах М.Н. Каткова, М.Н. Погодина, И.К. Бабста и других выражались чувства признательности и преданности царю, а также готовность, по словам Бабста, «до последнего вздоха содействовать благим начинаниям державного освободителя народного труда». Все эти выступления были полностью воспроизведены в «Русском вестнике». Там же в качестве «дополнения» к статье об обеде публиковалась речь, которую произнес московский купец Василий Александрович Кокорев. В ней Кокорев призывал купечество принять участие в общем деле освобождения крепостных, безвозмездно выкупив дома и огороды крестьян мелкопоместных владельцев в нечерноземных губерниях. Помимо крестьянского вопроса, Кокорев в своей речи затронул такие темы, как необходимость расширения гласности, вред винных откупов. Катков в предисловии с пафосом заявлял: «Речь эта не просто речь, а поступок, который пусть оценит Россия». По заказу Кокорева ее текст был отпечатан в типографии Каткова отдельной брошюрой тиражом в 10 тыс. экземпляров, которая была уничтожена. Московский генерал-губернатор А. А. Закревский аттестовал Кокорева как «западника, демократа и возмутителя, желающего беспорядков».

Александр II

Слова, сказанные Государем Императором тверскому дворянству при представлении сего последнего Его Императорскому Величеству

11 августа 1858 года в г. Твери

Господа! Я очень счастлив, что имею случай выразить Мою благодарность Тверскому дворянству, которое уже неоднократно доказало мне свою преданность и готовность, вместе с другими губерниями, всегда содействовать общему благу. Вы это доказали во время последней войны при составлении ополчения, и мне памятли жертвы Дворян, Теперь я вам поручил дело, важное для меня и для вас – дело крестьян. Надеюсь, что вы оправдаете Мое доверие. Лицам, из вашей среды избранным, поручено заняться этим важным делом, обсудите его, обдумайте зрело, изыщите средства, как лучше устроить новое положение для крестьян, устройте, применяясь к местности, так, чтобы было безобидно для них и для вас, на тех главных основаниях, которые указаны в Моих рескриптах. Вы знаете, как ваше благосостояние Мне близко к сердцу; надеюсь, что вам также дороги интересы ваших крестьян, поэтому Я уверен, что вы будете стараться устроить так, чтобы было безобидно для вас и для них. Я уверен, что могу быть покоен: вы Меня поддержите и в настоящем деле.

Когда ваши занятия кончатся, тогда положение Комитета поступит чрез Министерство на Мое утверждение. Я уже приказал сделать распоряжение, чтоб из ваших же Членов были избраны двое депутатов для присутствия и общего обсуждения в Петербурге при рассмотрении положений всех губерний в Главном Комитете.

В действиях нам разойтись нельзя, наша цель одна – общая польза России. Я оставляю вас в полной уверенности, что вы оправдаете Мои ожидания и Мое к вам доверие, – убежден, что вы Мне будете содействовать, но не препятствовать.

Публикуется по: Александр II. Слова, сказанные государем императором Тверскому дворянству при представлении сего последнего его императорскому величеству 11 августа в г. Твери. Слова, произнесенные государем императором в Нижнем Новгороде тамошнему дворянству. Слова, произнесенные государем императором костромскому дворянству. Б.м., б.г. С. 1–2.

В начале 1858 г. Александр II объявил об образовании дворянами России губернских комитетов для составления проектов улучшения быта крестьян. Главным основанием будущей реформы правительство считало сохранение за помещиками собственности на землю. Крестьяне со временем выкупали бы приусадебные участки, а за пользование барской земель платили оброк или несли барщину. В комитет предлагалось вводить по два депутата от уездных Дворянских собраний и двух по назначению губернатора. В августе 1858 г. начал работу Тверской комитет. Он оказался единственным в России, где большинство членов составили сторонники полного и немедленного освобождения крестьян с предоставлением им земельного надела. Между тем, государственные власти смотрели на предстоящие реформы с более умеренных позиций. Александр II, выступая перед представителями тверского дворянства, предложил искать их поддержки в осуществлении реформы.

С. И. Бардина

Речь, произнесенная пред судом на «процессе пятидесяти»

10 марта 1877 г.

Я со своей точки зрения ни в чем не считаю себя виновной и подлежащей наказанию, ибо никакого вреда обществу или народу принести не желала и не принесла, надеюсь. Конечно, меня так же, как и других подсудимых, обвиняют в стремлении разрушить священные основы собственности, семьи, религии, государства, в возбуждении к бунту и стремлении водворить анархию в обществе. Все это было бы весьма ужасно, если бы было справедливо. Но дело в том, что все эти обвинения основаны на одном только недоразумении, которое я и постараюсь теперь объяснить, если суд меня выслушает.

Собственности я никогда не отрицала. Напротив, я осмеливалась даже думать, что я защищаю собственность, ибо я признаю, что каждый человек имеет право на собственность, обеспеченную его личным производительным трудом, и что каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта. И скажите после этого – я ли, имея такие взгляды, подрываю основы собственности, или тот фабрикант, который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром? Или тот спекулятор, который, играя на бирже, разоряет тысячи семейств, обогащаясь на их счет и сам не производя ничего? Коммунизма, как нечто обязательное, ни я, ни никто другой из пропагандистов также не проповедует. Мы только выставляем на первый план право рабочего на полный продукт его труда. Затем, как он распорядится с этим продуктом, – обратит ли его в общую или частную собственность, – это уже его дело. Мы этих вопросов предрешать теперь не беремся и не можем предрешать, принимая во внимание, что такой строй может осуществиться только в далеком будущем, и что подобные детали могут быть выработаны только практикой.

Относительно семьи я также не знаю: подрывает ли ее тот общественный строй, который заставляет женщину бросать свою семью и идти для скудного заработка на фабрику, где неминуемо развращаются и она, и ее дети; тот же строй, который вынуждает женщину, вследствие нищеты, бросаться в проституцию и который даже санкционирует эту проституцию, как явление законное и необходимое во всяком благоустроенном государстве, – или подрываем семью мы, которые стремимся искоренить эту нищету, служащую главной причиной всех общественных бедствий, в том числе и разрушения семьи?

Относительно религии я могу сказать только, что я всегда оставалась верна ее духу и существенным ее принципам в том их чистом виде, в каком они проповедовались самим основателем христианства. Кроме того, должна заметить, что ни один свидетель и не говорил, что ему пропагандировали что-либо относительно религиозных вопросов, чтобы отрицали бога и т. п. Свидетельница Дарья Скворцова говорит, например: «Бога-то они на небесах признавали, только личность его не признавали», т. е. относились безразлично к некоторым обрядам церкви, к почитанию икон и т. п. Поэтому о религии я ничего больше говорить не буду.

В подрывании государства я столь же мало виновата. Я вообще думаю, что усилия единичных личностей подорвать государства не могут. Если государства разрушаются, то это обыкновенно происходит оттого, что они сами в себе носят зародыши разрушения. Так, например, древние государства исчезли с лица земли, ибо они были основаны на рабстве, – на таком базисе, который, как давно известно, не способствует развитию обществ. Конечно, если какое-нибудь данное государство держит свой народ в политическом, экономическом

и умственном рабстве, если оно массой неоплатных податей, капиталистической эксплуатацией рабочего и другими ненормальными экономическими и политическими отношениями доводит его до нищеты, болезней, преступления, – то, конечно, говорю я, такое государство само ведет себя к гибели, но в этом уж не виноваты единичные личности и группы, а, следовательно, не за что ожесточенно преследовать и наказывать их. В противном же случае, т. е. если государство находится в совершенно благонадежном состоянии, то усилия этих лиц не могут грозить ему ровно никакой опасностью; следовательно, наказывать их опять-таки не представляется надобности. Вот почему для меня совершенно непонятна логика обвинительной власти, говорящей, что «конечно, опасности для государства тут никакой быть не может», но что «опасность все-таки существует»!.. Мне кажется, что решение этой дилеммы может быть только одно.

Меня обвиняют в возбуждении к бунту. Но к непосредственному бунту я никогда не возбуждала народ и не могла возбуждать, ибо полагаю, что революция может быть результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательства единичных личностей. Резня сама по себе для меня, конечно, совсем не желательна. Я вовсе не имею тех кровожадных и свирепых наклонностей, которые всякое обвинение так охотно приписывает всем пропагандистам. Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души. Я полагаю только, что насильственная революция, при известных обстоятельствах, есть неизбежное зло, которое должно исчезнуть рано или поздно, помимо даже всяких усилий отдельных лиц или групп.

Председатель сенатор Петерс. Эти рассуждения не идут к делу.

Бардина. Я желаю только изложить свой взгляд на революцию и пропаганду: думаю, что мои взгляды совпадают со взглядами многих других подсудимых, и что поэтому мое объяснение будет бесполезно, если выставить гг. судьям пропагандистов в их настоящем свете.

Я, господа, принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем мирных пропагандистов. Задача их – внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся нем бессознательно; указать ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было тех же ошибок, но, когда наступит это будущее, мы не определяем и не можем определить, ибо конечное его осуществление от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды до подстрекательства к бунту еще весьма далеко.

Обвинение говорит, что мы желаем уничтожить классы, и понимает это в таком смысле, что мы хотим вырезать поголовно всех помещиков, дворян, чиновников, купцов и всех богатых вообще. Но это опять-таки недоразумение. Мы стремимся уничтожить привилегии, обуславливающие деление людей на классы, – на имущих и неимущих, но это не самые личности, составляющие классы. Я полагаю, что нет даже физической возможности вырезать такую массу людей, если бы у нас и оказались такие свирепые наклонности. Мы не хотим также основать какое-то царство рабочего сословия, как сословия, которое в свою очередь стало бы угнетать другие сословия, как то предполагает обвинение. Мы стремимся ко всеобщему счастью и равенству постольку, поскольку оно не зависит, конечно, от личных особенностей, от особенностей темперамента, пола, возраста и т.п. Это может показаться утопичным, но, по крайней мере, кровожадного и безнравственного тут ничего нет. На Западе такого рода пропаганда ведется каждодневно и решительно никого не поражает своим радикализмом, не смущает умы и не волнует общество, – может быть потому, что там давно привыкли обсуждать все подобные вопросы гласным образом, публично...

Обвинение называет нас политическими революционерами; но если бы мы стремились произвести политический *coup d'état*, то мы не так стали бы действовать: мы не пошли бы в

народ, который еще нужно готовить да развивать, а стали бы искать и сплачивать недовольные элементы между образованными классами. Это было бы целесообразнее, но дело то именно в том, что мы к такому *сoup d'état* вовсе и не стремимся.

Обвинение говорит еще, что мы хотим водворить анархию в обществе. Да, мы действительно стремимся к анархическому устройству общества, но дело в том, что это слово в том смысле, в каком его понимает современная литература и я лично, вовсе не означает беспорядка и произвола. Анархия, напротив, стремится водворить гармонию и порядок во всех общественных отношениях. Она не есть произвол личностей, ибо она признает, что свобода одного лица кончается там, где начинается свобода другого. Она есть только отрицание той утесняющей власти, которая подавляет такое свободное развитие общества. И так, разобрав все возводимые на меня преступления, я нахожу, что я, в сущности, ни в одном из них не виновата. Но, как бы там ни было, и какова бы ни была моя участь, я, господа судьи, не прошу у вас милосердия и не желаю его. Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет кряду и вызванное, очевидно, самым духом времени, не может быть остановлено никакими репрессивными мерами...

Председатель сенатор Петерс. Нам совсем не нужно знать, в чем вы там убеждены.

Бардина. Оно, может быть, пожалуй, подавлено на некоторое время, но тем с большей силой оно возродится снова, как это всегда бывает после всякой реакции подобного рода, — и так будет продолжаться до тех пор, пока наши идеи не восторжествуют.

Я убеждена еще и в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений! И тогда оно отомстит за нашу гибель... Преследуйте нас, — за вами пока материальная сила, господа; но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, — увы! на штыки не улавливаются!..

Публикуется по: Бардина С.И. Речь Софьи Илларионовны Бардиной, произнесенная перед судом 10 марта 1877 г. Женева, 1893. С. 3—11.

Одна из известных деятельниц народнического движения 70-х гг. Софья Илларионовна Бардина происходила из дворянской семьи. Окончив институт, она отправилась для дальнейшего образования в Цюрих. В 1874, вернувшись в Россию, стала активным членом народнического кружка в Москве, работала на фабриках работницей и вела пропаганду среди рабочих. В 1875 г. арестована, предстала перед судом на московском «процессе пятидесяти». (1877). На суде произнесла революционную речь, которую читали с восторгом как представители интеллигенции, так и рабочих. Эта речь произвела огромное впечатление, неоднократно переиздавалась за границей, о ней много говорили. Полонского она вдохновила к созданию стихотворения «Узницы».

И. Н. Мышкин

Речь на заседании особого присутствия правительствующего сената (процесс «193-х»)

15 ноября 1877 г.

...Введен подсудимый Мышкин.

На вопрос первоприсут[ствующего] о виновности в принадлежности к противозаконному сообществу подсудимый ответил:

– Я признаю себя членом, но не того противозаконного сообщества, о котором говорится в обвинительном акте, а членом русской социальной партии, и прошу позволить мне теперь объяснить, в чем заключается то преступление, которое, по собственному сознанию, совершено мною против русских государственных законов.

Первоприсут[ствующий]. Объясните, что имеете.

Мышкин. Я отрицаю свою принадлежность к тайному сообществу потому, что я, как и многие другие товарищи, не только по заключению, но и по убеждению не составляли нечто особенное, нечто целое, связывающее нас единством общей для всех организации. Мы составляем не более как ничтожную частицу в настоящее время многочисленной в России социальной революционной партии, понимая под этими словами всю совокупность лиц одинаковых убеждений, лиц, между которыми хотя существует преимущественно только внутренняя связь, но эта связь достаточно тесная, обусловленная единством стремления, единством цели и большим или меньшим однообразием тактических действий. Цели ее заключаются в том, чтобы создать на развалинах существующего буржуазного строя тот порядок вещей, который удовлетворял бы народным требованиям в том виде, как эти требования могли выразиться и в мелких, и в крупных движениях народных, и который в то же время составляет наисправедливейшую форму будущего строя, состоящего из союза производительных, независимых обществ. Строй этот может быть осуществлен не иначе, как путем социальной революции, потому что государственная власть заграждает всякие пути к мирному достижению этой цели; потому что она никогда не откажется добровольно от насильственно присвоенных ею себе прав. За это нам ручается ход всей истории.

И действительно, можем ли мы мечтать о мирном пути, когда государственная власть не только не подчиняется голосу народа, но даже не хочет его выслушать; когда за всякое желание, несогласное с требованиями правительства, люди награждаются каторгой. Можно ли рассуждать при таком режиме о потребностях народа, когда народ для выражения их не имеет других средств, кроме бунта – этого единственного органа народа...»,

Первоприсут[ствующий]. Позвольте, вы объяснили нам, в чем заключаются ваши стремления. Затем, препятствия к осуществлению этих стремлений не входят в круг предметов обсуждения суда, и потому я не вижу ни возможности, ни даже надобности для суда выслушивать то, что вы в настоящее время говорите. Вы отвечали на мой вопрос, что признаете себя виновным в принадлежности ко всеобщей социальной революции. Для суда в настоящее время, еще до производства судебного следствия, это представляется достаточным. Затем, каким образом вы хотели этого достигнуть, что вам в этом препятствовало, – это может быть выяснено во время самого судебного следствия.

Мышкин. Я думаю, что для суда не только важно знать о цели моей деятельности, – была ли она революционной или иной, – но знать, как вообще мы смотрели на эту деятельность, т. е. считали ли эту цель осуществимой, может быть, в весьма отдаленном или в весьма скором времени; считали ли необходимым действовать в таком виде, чтобы тотчас создать

революцию или только гарантировать успех ее в будущем, потому что от этих вопросов зависит взгляд суда на преступность и на виновность мою и других моих товарищей...

Первоприс[утствующий]. В этом я не буду вам препятствовать говорить, потому что это входит в предмет обвинения.

Мышкин. Таким образом, практическая деятельность всех друзей народа должна заключаться не в том, чтобы искусственно вызвать революцию, а в том, чтобы гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтобы предвидеть неизбежный исход вещей, неизбежность восстания. Ввиду этой неизбежности восстания и возможной продуктивности его мы полагали предостеречь народ от тех фокусов европейской буржуазии, посредством которых она обманула народ. Такая цель может быть достигнута путем объединения всех революционных элементов, путем слияния двух главнейших ее потоков: одного – недавно возникшего, но проявившегося уже с серьезной силой, и другого потока, более широкого, более могучего – потока народной революции. В этом единении революционных элементов путем окончательного формирования их и заключалась задача движения 1874 г. Эта задача, если не вполне, то в значительной степени была выполнена. Но в только что сказанных мною словах я разумею лишь центр нашей деятельности. Я должен сказать, что масса принимавших участие состояла из лиц, стоящих на различных степенях революционного развития, начиная от тех, которые делали только первые шаги к уяснению народных страданий, и до тех, которые делали попытки к внешней организации революционных сил, и что при всем различии взглядов по менее важным вопросам адепты революции сходились в одном, а именно – что революция может быть совершена не иначе, как самим народом, при сознании, во имя чего она совершается; другими словами: существующий государственный порядок может и должен быть ниспровергнут только тогда, когда этого пожелает сам народ. Следовательно, если правительство блюдет интересы народа, то оно не может считать нас заговорщиками, когда мы говорим: мы ходатайствуем перед народом об удовлетворении нужд страны. Мы сознаем хорошее и вредное и предлагаем свои посильные услуги. В нашем распоряжении нет ни тюрем, ни коммерческих предприятий, которые закабаляют рабочего; все подобные средства находятся и практикуются в руках наших противников. Следовательно, если даже при этих невыгодных условиях правительство может опасаться, что наша деятельность может увенчаться успехом, то значит, мы не ошибаемся в потребностях и желании народа, следовательно, в этом случае, мы не злоумышленники.

Указавши цель и средства той партии, к которой я и мои товарищи принадлежали, я перехожу к другим не менее важным фактам и скажу о причинах, под влиянием которых появилась и развилась эта партия. В обвинительном акте дело представлено таким образом, что были-де на Руси обломки прежних тайных сообществ, была русская эмиграция в Швейцарии и вот явились несколько энергичных личностей и по их слову возникло революционное движение во всех уголках обширной России. Конечно, никто из людей, сколько-нибудь понимающих смысл этого движения, не удовлетворится подобным прокурорским объяснением, вообще не отличающимся особенно добросовестностью...

Первоприс[утствующий]. Прошу не выражаться подобным образом.

Мышкин. Я говорю, что нельзя искусственно создавать это уважение и приписывать его только среде интеллигенции. Начиная с (18)60-х гг., мы натолкнулись на тот факт, что каждое революционное движение интеллигенции соответствует параллельному движению в народе и составляет только отголосок последнего; так что движение в народе является потоком параллельным, стремящимся слиться позади той плотины, которая создана вековой рознью сословий, вековой отчужденностью друг от друга. Такое движение среди интеллигенции 60-х гг. было отголоском движения народа после того, как народ не мог удовлетвориться мнимым освобождением от крепостной зависимости. Ко времени истечения 10-ти лет со времени уничтожения крепостного права в народе стали ходить настойчивые слухи

о сокращении или совершенном уничтожении выкупных податей. Эти слухи поддерживали сильное волнение в народе, и отголоском его было новое движение в среде интеллигенции, завершившееся так называемым Нечаевским делом. Наконец, страшно тягостное положение народа вследствие огромных платежей породило в нем ропот, и ответом на этот ропот послужило движение 1874 г. Эта естественная связь между движениями в интеллигенции и в народе легко может ускользнуть от внимания общества благодаря практикуемому у нас способу гласности. Всем известно, что у нас доводят до сведения общества о всевозможных пустяках, но о серьезных явлениях жизни систематически умалчивается или не менее систематически извращается. Так о бунтах, бывших в (18)60-х гг...

Первоприс[утствующий]. Примеры нам не нужны...

Мышкин. Если для особого присутствия мои объяснения представляют несомненную истину, то я воздержусь от примеров...

Первоприсут[ствующий]. Для суда ваши объяснения вовсе не составляют истину. Суд должен выслушать от вас, что вы можете сказать по обвинению...

Мышкин. Так как весьма важны примеры...

Первоприс[утствующий]. Вы можете указывать свои положения, не приводя примеров.

Мышкин. Общество наше знает в настоящее время только то, что был суд, что происходит суд над представителями революционной партии, но ему может показаться, что движения эти не имеют под собой прочной почвы, не имеют связи с народом. Оно может подумать это потому, что от него будут скрыты эти явления, а в этих явлениях недостатка не было. Не говоря уже о сильном волнении между уральскими казаками, о котором общество имело весьма скудные сведения, в 1874 г. не раз приходилось прибегать к помощи войска для усмирения нескольких татарских селений, затем возмущение раскольников на уральских заводах...

Первоприс[утствующий]. Я уже объявил вам однажды, что примеры нам не нужны.

Мышкин. Иначе мои заявления будут голословны.

Первоприс[утствующий]. Дело суда судить о том, будут ли они голословны или нет. Вообще, вы входите в такие пространные размеры вашей речи, которые вовсе не соответствуют существу того вопроса, который я вам сделал. Я сделал вам вопрос на основании закона, о том, признаете ли вы себя виновным в принадлежности к тому противозаконному сообществу, о котором говорится в обвинительном акте. Теперь я не препятствовал вам говорить о том, что вы принадлежали, как вы сказали, к другому противозаконному сообществу. Затем, я не вижу, что же еще нам остается выслушивать относительно этого предмета.

Мышкин. Имеет ли подсудимый право говорить о причинах преступления?

Первоприс[утствующий]. Можете.

Мышкин. Причины того преступления, в котором я обвиняюсь, есть народное движение, бывшее в последнее время. Следовательно, мне необходимо констатировать факт, что движение существует и что наше движение есть только отголосок на более сильное движение в народной среде...

Первоприс[утствующий]. Эти ваши объяснения не могут служить для суда каким-либо доказательством или таким фактом, который он должен был бы принимать за несомненный вывод из того, что вы говорите. Следовательно, если вы желаете говорить, то говорите так, чтобы ваша речь не имела в настоящее время уже характер защитительной речи, потому что в настоящее время мы до этого еще не дошли. Поэтому, если желаете объяснить, то говорите так, чтобы суд мог себе уяснить, признаете ли вы себя виновным в преступлении, в котором обвиняетесь, то, что вас к этому побудило, не касаясь тех фактов, которые ни в каком случае не могут подлежать здесь обсуждению.

Мышкин. Если я говорю, что меня побудило невыносимо тяжелое положение народа, то могу ли я сказать об этом положении?

Первоприс[утствующий]. Совершенно излишне. Вы сослались на тяжелое положение народа, и достаточно. Продолжайте дальше.

Мышкин. Я, конечно, имею право доказывать. Разумеется, суд может относиться к моим доказательствам как ему угодно. Он может признать мои взгляды ошибочными, но они, во всяком случае, не могут повредить никому, кроме, как мне самому; если же в моем взгляде есть слова правды, то нет основания зажимать мне рот...

Первоприс[утствующий]. Никто вам не зажимает. По закону я обязан допускать доказательства только те, которые могут относиться к данному предмету. Поэтому я не могу вам позволить говорить о таких фактах, которые не могут подлежать нашему обсуждению. Затем, я не препятствую вам продолжать речь, ограничиваясь теми выводами, которые из высказанных вами положений вы признаете нужным высказать суду.

Мышкин. Я хотел указать на один очень серьезный факт. Так как я обвиняюсь коллективно, то хотел бы указать [на то], что мы видим в настоящем деле: что девушка, желавшая читать революционные лекции крестьянам; юноша, давший революционную книжку какому-нибудь мальчику; несколько молодых людей, рассуждавших о причинах народных страданий, рассуждавших, что не худо было бы устроить даже, быть может, народное восстание, – все эти лица сидят на скамье подсудимых, как тяжкие преступники, а в то же время в народе было сильное движение, которое смиралось помощью штыков; а между тем эти лица, эти бунтовщики, которые были усмирены военной силою, вовсе не были привлечены на скамью подсудимых, как будто бы говорить о бунте, рассуждать о его возможности считается более преступным, нежели самый бунт. Это может показаться абсурдом, но абсурд этот понятен: представители силы народной могли бы сказать на суде нечто более полновесное, более неприятное для правительства и поучительное для народа. Поэтому-то зажимают рот и не дают сказать это слово на суде...

Та естественная связь, о которой я говорил, вызвала движение среди интеллигенции и будет вызывать до тех пор, пока не прекратятся причины, вызвавшие его. Я указал только на один факт, но есть другие, не менее уясняющие революционное движение, как, напр., распространенность таких религиозных сект, где отрицание государственной власти возводится в догмат, где источник государственной власти именуется антихристом; далее, образование обществ с целью неплатежа податей, исчезновение целых деревень с целью уклонения от поборов...

Первоприс[утствующий]. Все это опять-таки вовсе не входит в предмет обсуждения суда. Постарайтесь ограничиться тем, что имеете сказать по обвинению вас в том преступлении, о котором я вам объявил.

Мышкин. Я говорю, что отголоском народного движения было движение в среде интеллигенции и образование социально-революционной партии. В этом образовании люди приняли участие, благодаря, главным образом, следующим двум причинам. Как известно, сильным влиянием и крупнейшим проявлением революционной мысли было образование общества рабочих и освобождение крестьян, потому что в среде рабочих образовалась фракция, послужившая ядром социально-революционной партии. Кроме того, крестьянская реформа оказала весьма важные услуги революционному делу. С 19-го февраля (1861 г.) началась новая народная жизнь с[о] своим неизбежным спутником – борьбой между капиталом и трудом; затем крепостная реформа послужила наглядным доказательством своей несостоятельности в деле улучшения народного быта. И действительно, мы видим в результате, что народ доведен до крайней бедности, до страшного голода, и вовсе не нужно обладать крайним радикализмом, чтобы усомниться в хороших качествах этой реформы для массы

освобожденных крестьян, которые стали лицом к лицу с представителями государственной власти и которые убедились, что жестоко обманывались этой прославленной свободой...

Первоприс[утствующий]. Вы говорите о крестьянах, но вы не представитель крестьян. Они одни могут судить о том, каково их положение.

Мышкин. Мне необходимо уяснить эту сторону вопроса, потому что тогда только вы поймете, что я хочу сказать. Я сын крепостной крестьянки и солдата, я видел уничтожение крепостного права и, тем не менее, не только не благословляю эту реформу, но стою в рядах отъявленных врагов ее. Вот почему вследствие моего рождения, моего воспитания, моих чувств, которые связывают меня с народом, я имею право несколько подробнее коснуться этой стороны вопроса. Народу не трудно было убедиться, что эта превознесенная реформа освобождения крестьян в конце концов сводится к одному – к переводу более 20 млн населения из разряда помещичьих холопов в разряд государственных или чиновничьих рабов...

Первоприс[утствующий]. Я повторяю, что все то, что вы говорите о крестьянах, я считаю в настоящее время неуместным и неподходящим к делу...

Мышкин. Я указывал на причины, которые заставили меня... Может быть, мой взгляд ошибочен, но я утверждаю, что эти причины заставили меня вступить в ряды революционной партии...

Первоприс[утствующий]. Вы указываете совершенно ненужные нам подробности. Вы можете сказать это в двух словах.

Мышкин. Крестьяне увидели, что их наделили песком и болотами и какими-то разбросанными клочками земли, на которых невозможно вести хозяйство, хоть сколько-нибудь обеспечивающее крестьянскую семью, когда увидели, что это сделано с соизволения государственной власти, когда увидели, что нет той таинственной статьи закона, которую они предполагали как охраняющую народные интересы и которую, как думали, от них скрывали; когда увидели это, то убедились, что им нечего рассчитывать на государственную власть, что они могут рассчитывать только на самих себя. Рядом с этим крестьяне, сделавшись орудием экономического положения, поняли всю прелесть договора между голодным рабочим и сытым капиталистом; они поняли это еще более потому, что во всех столкновениях рабочих с капиталистами государственная власть становится на сторону капиталистов. Вследствие всего этого крестьяне не могли не относиться с полною ненавистью...

Первоприс[утствующий]. Ваша речь заключалась до сих пор только в порицании...

Мышкин. Я хочу указать те элементы, из которых сложилась социально-революционная партия.

Первоприс[утствующий]. Я не могу вам позволить открыто порицать правительство. Вы можете сказать, почему вы обратились к такому-то сообществу, но порицать правительство я вам не могу позволить, так как сам закон этого не позволяет...

Мышкин. Это значит – я должен не признавать себя виновным? Если преступник сознает себя виновным, то уже этим сознанием он порицает. Признавая себя виновным, я и высказался. Скажу еще относительно умственного пролетариата, который не мог не присоединиться к этой партии; наконец, в ряды ее стали люди из других классов общества, которые по натуре своей способны действовать только во имя идеала. Вот те элементы, из которых почерпала и почерпает свои силы социально-революционная партия. Цементом им служит крайне бедственное положение народа, то, что народ под гнетом...

Первоприс[утствующий]. Вы об этом говорили уже несколько раз. Не возвращайтесь к этому...

Мышкин. Я хочу указать, что бедственное положение народа...

Первоприс[утствующий]. Мы здесь не судим вопрос об этом, а судим известное число лиц, которые обвиняются в принадлежности к известному сообществу. Следовательно, нам нужно знать, признаете ли вы себя виновным в принадлежности к этому сообществу...

Мышкин. Во всем обвинительном акте нет страницы, где бы не говорилось, что подсудимый указывал на бедственное положение народа. Вот почему весьма естественно, что каждый из нас не может не говорить о таком, даже по обвинительному акту, самом крупном факте – о народных страданиях как единственной причине, заставившей вступить нас в эту партию. Вот почему, может быть, лишний раз я коснусь этого предмета, и притом примите во внимание невозможность говорить спокойно вследствие столь частых перерывов. Может быть, я не так часто возвращался бы к этому предмету, если бы говорил с большою свободой.

Первоприс[утствующий]. Вы ведите вашу речь о том, в чем вы призвали себя виновным.

Мышкин. Я не признал себя виновным. Я сказал, что признаю себя членом социально-революционной партии. Затем я хотел только разъяснить мой ответ. То, что я говорил, касалось причин, которые послужили к созданию социально-революционной партии.

Первоприс[утствующий]. Вы много сказали об этих причинах, и нам не нужно более знать.

Мышкин. Теперь я хочу перейти, в таком случае, еще к некоторым очень важным вопросам, хотя и более частным, – к целям, которые преследует наша партия. Из обвинительного акта видно, что будто бы те лица, с которыми я готов признать солидарность, задались борьбой против религии, собственности, семьи, науки и возводили на степень идеала леность и невежество и соблазняли народ обещанием жить на чужой счет. Если это верно, а я не был в заседании суда по предыдущим группам, но если действительно таково было объяснение других подсудимых, то я руками и ногами отрекаюсь от этих людей и поэтому считаю необходимым высказать, какого мнения я придерживался по отношению к этим вопросам. Начиная с вопроса о религии. В тех идеалах общественного строя, стремиться к которым я поставил задачею своей жизни, нет места уголовному закону за распространение иных верований, за соращение в ересь, словом, нет места насилию на мысль. Каждый может верить во что ему угодно и как угодно. Каждая община будет иметь право, если пожелает, построить сколько угодно церквей и содержать сколько угодно попов (конечно, на свой счет) – в этом никто не может ей помешать потому, что это согласно нашему идеалу, потому что община есть полная распорядительница всех своих дел. В этом идеале нет власти, которая могла бы принудить человека жить семьей...

Первоприс[утствующий]. Я прошу вас воздержаться от инсинуаций...

Мышкин. Я под страхом наказания не могу перейти в другое исповедание...

Первоприс[утствующий]. Это есть существующий закон, который не подлежит обсуждению.

Мышкин. Я его не порицаю и говорю только, что в силу государственного закона я обязан лицемерить. Затем нет власти, которая заставляла бы крестьян идти под конвоем...

Первоприс[утствующий]. Вы входите в такие сопоставления, что я решительно не могу вам позволить...

Мышкин. Относительно религии я ограничусь. Наш идеал – полнейшая веротерпимость и глубокое убеждение в том, что при свободе слова и правильном воспитании истина сама собою...]

Первоприс[утствующий]. О ваших убеждениях нам нет надобности знать...

Мышкин. За что же я сужусь?

Первоприс[утствующий]. Вам известно обвинение, которое против вас предъявлено...

Мышкин. Именно за мои убеждения...

Первоприс[утствующий]. За известного рода убеждения, которые проявились в известного рода действия.

Мышкин. Затем перехожу к науке. Обвинение говорит, что будто бы мы возводим невежество в идеал. Я считаю это клеветой и опровергнуть эту клевету мне не стоит труда. Я приведу хотя бы такой пример: кого скорее можно считать невежественными – тех лиц, кто печатает, напр., книги Лассаля, или тех, кто их сжигает...

Первоприс[утствующий]. Подсудимый, вы в настоящее время говорите защитительную речь. Дозволить вам это я теперь не могу и последний раз, после столь частых напоминаний, спрашиваю вас: на мой вопрос по первому обвинению вы признали себя виновным, хотя не в том, в чем обвиняетесь, но сказали...

Мышкин. Я сказал, что не виновен. Я считаю для себя долгом чести и обязанным принадлежать и быть членом...

Первоприс[утствующий]. Затем никаких объяснений я не буду от вас принимать...

Мышкин. Я обвиняюсь еще вместе с другими в борьбе с религией, собственностью, наукою, семьею. Имею ли я право сказать – разделяю ли я подобное воззрение?

Первоприс[утствующий]. Нет, в настоящее время не имеете; мы еще не дошли до этого. Все эти обвинения на суде еще не предъявлены...

Мышкин. Они предъявлены в обвинительном акте...

Первоприс[утствующий]. Они будут предъявлены во время судебного следствия, и когда оно будет касаться этого предмета, тогда вы можете представить свои опровержения.

Присяжный поверенный Утин. Здесь есть маленькое недоразумение со стороны подсудимого.

Первоприс[утствующий]. Я полагаю, что тут нет недоразумения. Позвольте судить об этом мне.

Утин. Я сказал, что со стороны подсудимого недоразумение, а не с вашей стороны. Вы изволили неверно понять меня. Недоразумение заключается в том, что Мышкин полагает, что он обязан высказать все, что желает и имеет. Если ему будет объяснено, что он будет иметь эту возможность на судебном следствии...

Первоприс[утствующий]. Это я только что ему и объяснил. (*К подсудимому*). Вы сверх того обвиняетесь в том, что с целью распространения участвовали в составлении, печатании и рассылке сочинений, по содержанию своему направленных к явному возбуждению и неповиновению власти верховной. Признаете вы себя в этом виновным?

Мышкин. Я признаю, что считал своей обязанностью в качестве содержателя типографии печатать и распространять книги и прошу позволить мне объяснить те причины, которые побудили меня совершить это. Мысль о печатании этих книг созревала во мне постепенно, уже давно, и только в 1874 г. я решился привести ее в исполнение, потому что окончательно убедился, что печать наша находится в безнадежно жалком положении, не соответствует ни массе, ни интеллигенции. У нас каждый неподкрашенный рассказ из жизни русского народа, освещающий его страдания, каждая статья, указывающая на язвы в организме народной жизни, – все это воспрещено и строго преследуется...

Первоприс[утствующий]. Вы опять входите в такие объяснения, которых я не могу допустить...

Мышкин. Могу ли я объяснить те побуждения...

Первоприс[утствующий]. В настоящее время я вас об этом не спрашиваю.

Мышкин. Я желаю знать, когда же наступит тот момент, когда я могу подробно объяснить...

Первоприс[утствующий]. Этот момент наступит впоследствии.

Мышкин. Я желаю знать, когда.

Первоприс[утствующий]. Это мое дело. Сверх того, вы обвиняетесь в том...

Мышкин. На следующие вопросы я не отвечу до тех пор, пока не буду иметь возможности объяснить причины, заставившие меня совершить второе преступление.

Первоприс[утствующий]. Садитесь...

* * *

Подсудимый Мышкин. По поводу свидетельского показания Гольдмана я желал бы представить свои объяснения. Но прежде объяснений этих я хотел обратиться к суду с одним ходатайством. Хотя на основании 729 ст[атьи] Уст. уголовного судопроизводства я имею право требовать, чтобы мне было объяснено все то, что происходило на суде во время судебного следствия по рассмотренным 11-ти группам, но так как я убежден, что эта просьба не будет уважена, то я желал бы, по крайней мере, чтобы суд объяснил мне то из происходившего на суде, что непосредственно относится до меня, как до члена того сообщества, в участии в котором меня обвиняет прокурор. Между прочим, прокурор в обвинительном акте говорит, что члены этого сообщества, следовательно, в том числе и я, выражали готовность к совершению всякого рода преступлений ради приобретения денег. Поэтому я желал бы знать, подтвердило ли следствие те факты, из которых прокурор сделал этот вывод. Я желал бы знать, подтверждено ли на следствии, что некоторые из моих товарищей по сообществу предлагали г-же В. сделаться любовницей какого-то старика с тем, чтобы обобрать его, отравить, а деньги представить в пользу г-же В... Затем я указал бы еще на другие факты, относительно которых я желал бы знать, подтверждены ли они на судебном следствии или нет...

Первоприс[утствующий]. До вас производилось следствие по 11-ти группам, и в течение всего этого следствия ни свидетелями, ни в вещественных доказательствах вашей фамилии не упоминалось.

Мышкин. Тогда я желал бы знать, до кого относится это обвинение, что члены этого сообщества выражали готовность к совершению всякого рода преступлений ради приобретения денег. Так как в обвинительном акте не сказано, до кого относится это обвинение, то я думаю, что оно относится до всех, а следовательно, и до меня...

Первоприс[утствующий]. Это в настоящее время не может быть вам сказано. Это вопрос обвинения.

Мышкин. Но из обвинительного акта видно, что это обвинение возводится на всех, следовательно, и на меня...

Первоприс[утствующий]. Когда вы выслушаете обвинительную речь товарища обер-прокурора...

Мышкин. Тогда уже будет поздно говорить о том, что происходило на следствии...

Первоприс[утствующий]. Да, но я вам объяснил, что о вас не упоминалось в свидетельских показаниях...

Мышкин. Все обвинение меня в принадлежности к этому сообществу основано не на каких-либо строго определенных показаниях. Таких показаний, которые были бы строго указаны в обвинительном акте, я не вижу; этих улик нет в обвинительном акте. Прокурор не говорит, что на основании таких-то фактов я обвиняюсь в принадлежности к сообществу, и, следовательно, я имею основание думать, что это обвинение происходит вследствие предположения, что между всеми подсудимыми существует внутренняя связь, известная солидарность. Я готов ее признать, но мне для этого необходимо знать, действительно ли подсудимые таковы, какими выставляет их обвинение. От этого зависит, признать или не признать мою солидарность.

Первоприс[утствующий]. Это вы можете сказать в своей защитительной речи, признаете ли...

Мышкин. Как же я могу знать, признаю ли себя солидарным с таким-то, когда я не знал, что говорилось относительно его на следствии, когда я не присутствовал при судебном следствии?

Первоприс[утствующий]. Вам будет предъявлено на судебном следствии то, что было относительно вас, и из этого вы можете сделать тот или другой вывод.

Мышкин. Кроме того, есть такие обвинения, которые огульно на всех возведены. Относительно [этих-]то обвинений я бы и хотел знать, подтверждены ли судебным следствием те факты, из которых они выведены. Я очень хорошо знаю, что большинство этих фактов лживы, выдуманы прокурором...

Первоприс[утствующий]. Прошу не выражаться подобным образом, оскорбительным для представителя обвинительной власти, иначе я прикажу вас вывести.

Мышкин. В таком случае я, разумеется, не имея фактов, не имея возможности знать их, буду лишен возможности опровергать те заключения, которые угодно было сделать прокурору, и не только я, но и все мои товарищи будут лишены возможности касаться общей стороны дела, и прокурор может делать какие угодно выводы и заключения, как бы они ни были абсурдны. Никто из нас не будет обладать достаточным фактическим материалом для опровержения этих выводов, благодаря постановлению, которое состоялось 11-го октября. В таком случае я желал бы высказать теперь опровержение по крайней мере относительно других обвинений, которые возводятся прямо на меня – одинаково вместе с другими подсудимыми. Так, в обвинительном акте сказано, что обыкновенно интеллигентные люди служат пропагандистами, приглашаются бросать учение и идти в народ, выставляя, что наука есть не более, как средство для эксплуатации народа. Я желал бы сказать несколько слов по этому поводу, потому что я готов признать себя виновным в том, что разделяю тот взгляд, что для революционера в настоящее время нет надобности оканчивать курс в государственной школе. Затем, так как этот взгляд навлек на нас немало нареканий со стороны известной части общества, то я считаю себя вправе объяснить, какие причины довели меня до подобного, кажущегося многим безрассудным, взгляда. Я предложил, что, если бы в настоящее время Россия находилась под татарским игом, если бы во всех городах на деньги, собранные в виде дани с русского народа, существовали татарские школы, в которых бы читались лекции о добродетелях татар, об их блестящих военных подвигах...

Первоприс[утствующий]. Это к делу не относится, таких сопоставлений на суде не допускается.

Мышкин. Прошу извинить, но у меня такой склад ума, что я могу убедить только путем сравнения, путем аналогии. Вот я и хотел бы привести такое сравнение, так как оно лучше всего доказывает справедливость моей мысли. Если бы в таких школах доказывалось право татар владеть русским народом, и если бы все учение в них было направлено к тому, чтобы создать из русской молодежи ревностных и покорных слуг татарских ханов, то спрашивается: была ли бы необходимость для русской молодежи оканчивать курс в подобных школах и посвящать все свои силы отъявленным врагам своим? Я полагаю, что нет. Точно так же и для революционера нет никакой необходимости оканчивать курс в государственных школах, потому что... впрочем, пожалуй, я воздержусь от окончания этой фразы из опасения быть остановленным и удаленным. Кроме того, в обвинительном акте возводится обвинение в том, что...

Первоприс[утствующий]. Вы опять говорите защитительную речь. В настоящее время следствие еще не окончено. Из данных, которые обнаружатся на следствии, вы можете потом делать свой вывод, в настоящее же время мы не обязаны выслушивать вашу защитительную речь...

Мышкин. Так как никто не будет говорить из свидетелей, что...

Первоприс[утствующий]. Вы не можете еще знать, что будут говорить свидетели...

Мышкин. Но мы уже видели здесь, что когда свидетеля спрашивали, не высказывал ли я когда-нибудь свой взгляд относительно религии, науки, семьи, то он отвечал отрицательно. Вот по этому поводу я и хотел бы сказать. В обвинительном акте прокурор делает

еще тот общий вывод, что будто бы революционное учение заключается в отнятии у своего ближнего собственности или в уничтожении власти, которая сему препятствует. Я не знаю такого революционного учения. То учение, которого я придерживаюсь, говорит об обеспечении блага трудящегося народа, о праве безусловного пользования продуктами труда. Действительно, это совершенно необходимо для осуществления блага трудящегося народа. В самом деле, можно ли признать заслуживающей названия охранительницы права собственности ту самую государственную власть, которая присваивает себе право налагать произвольные контрибуции на народ...

Первоприс[утствующий]. Вы опять пускаетесь в порицание. Я этого не позволяю. Поэтому предлагаю сесть...

Мышкин. Я вовсе не хотел порицать. Я обвиняюсь в платоническом порицании...

Первоприс[утствующий]. Я обвиняю вас в том, что вы делаете порицание на суде, и так как закон всякое порицание на суде воспрещает, то я запрещаю вам говорить в этом смысле и приглашаю вас сесть. Употребленные вами выражения составляют порицание правительства.

Мышкин. В таком случае я хотел бы еще сказать относительно тех незаконных мер, которые были приняты во время предварительного следствия против меня и которые имели влияние на поведение мое и производство дела как во время предварительного следствия, так и на суде. После первого допроса за нежелание отвечать на некоторые из вопросов я был закован в кандалы и затем в наручники. Одновременно с этим я был лишен права пользоваться не только собственным чаем, но даже простою кипяченою водою...

Первоприс[утствующий]. Вы говорите все это голословно...

Мышкин. Нет, не голословно. Протокол о заковке меня в кандалы имеется при самом деле. Кроме того, я просил истребовать протокол о заковке меня в наручники, но мне было в этом отказано Сенатом. Затем, относительно всего другого, что будет говориться против меня, я хотел вызвать свидетелей, но мне также было в этом отказано. Как на факт, который доказывает, до какой степени мстительности доходит правительственная власть по отношению к политическим преступникам, я укажу на следующее ничтожное, но довольно характерное обстоятельство. Когда я унился до мелкой просьбы о том, чтобы мне под кандалами позволили носить чулки, так как кандалы сильно терли ноги, то даже и в этой просьбе мне было отказано...

Первоприс[утствующий]. Все, что вы говорите, совершенно голословно, и суду нет надобности выслушивать вас об этом.

Мышкин. Даже если я буду говорить о фактах...

Первоприс[утствующий]. Да, если вы говорите голословно.

Мышкин. Я хотел указать еще на то, что во время моего содержания под стражей мне не было позволено ни разу повидаться с матерью...

Первоприс[утствующий]. Это опять такой предмет, который суд не может здесь проверить...

Мышкин. Но я обращался об этом с письменною просьбою...

Первоприс[утствующий]. Только не в суд. Следовательно, суд этого не может проверить.

Мышкин. Да позвольте, в таком случае, если могут пытать, могут делать что угодно, и мы не можем заявить об этом на суде...

Первоприс[утствующий]. Потому что всякое заявление должно быть подтверждено известными фактами или данными...

Мышкин. Тогда стоит только спросить у прокурора бумагу, в которой заявлялась просьба о свидании с матерью, и из нее будет видно, что он не разрешил этого свидания...

Первоприс[утствующий]. Это предмет, не подлежащий обсуждению суда...

Мышкин. То есть и пытки.

Первоприс[утствующий]. Не подлежат обсуждению суда...

Мышкин. Пытки, допущенные на предварительном следствии, не подлежат...

Первоприс[утствующий]. Действия прокурора не подлежат рассмотрению суда. Он имеет свое начальство...

Мышкин. Но если бы меня пытали прежде, то это имело бы влияние на показания, данные на предварительном следствии, а эти показания имеют влияние на то представление, которое составил себе суд обо мне.

Первоприс[утствующий]. Вы не можете знать, какое представление составил себе суд...

Мышкин. Я думаю, что он составляет его из тех документов, которые у него пред глазами, а эти документы выпытываются и вымучиваются. Следовательно, можно сказать, что пытки, употребляемые обыкновенно жандармами и прокурором, имеют влияние на то представление, которое составляет о нас суд. Вот почему, я полагаю, что имею право сказать, и думаю, что общество должно знать, как обращаются с политическими преступниками, т. е. хуже, чем турки с христианами...

Первоприс[утствующий]. Что же, вы можете сказать, что вас пытали, вынуждали ваши показания?..

Мышкин. Да. Заковка в кандалы производилась специально с целью вынудить показание...

Первоприс[утствующий]. Вы давали показание относительно своей виновности?

Мышкин. Давал.

Первоприс[утствующий]. Чем же вы можете подтвердить, что вас пытали?

Мышкин. Относительно заковки в кандалы есть протокол. Затем у меня было много заявлений по поводу принятых против меня мер, но все они хранятся под сукном. Кроме того, против меня употреблена еще другая пытка, более существенная, чем заковка в кандалы. Кандалы – это еще пустяки. Она состояла в том, что со специальной целью вынудить от меня желаемое жандармами показание я в течение нескольких месяцев был лишен возможности пользоваться какими-либо книгами, даже книгами религиозного содержания, даже Евангелием...

Первоприс[утствующий]. Это вы говорите о дознании?

Мышкин. Да.

Первоприс[утствующий]. Это не подлежит нашему обсуждению.

Мышкин. Если употребляются на дознании такие меры, то где же искать правды? Какой правды! Я правды не буду даже искать, но, по крайней мере, я желал бы, чтобы общество-то знало, какие меры принимаются...

Первоприс[утствующий]. Я не могу позволить вам говорить об этом...

Мышкин. Сидеть в одиночном заключении, в четырех стенах и при этом не иметь никакой книги – да это хуже всякой пытки. Вот этим и объясняется то громадное число случаев смертности и сумасшествия, которые обнаружили по этому делу. Многие из товарищей моих уже сошли в могилу и не дождались суда...

Первоприс[утствующий]. Если они не дождались суда...

Мышкин. Именно вследствие этой пытки, а вы ценой той каторги, которая меня ожидает, каторги очень продолжительной, не даете права сказать, несколько слов об этом крайнем беззаконии, которому я подвергался...

Первоприс[утствующий]. Вы продолжаете неприлично...

Мышкин. Я не совсем кончил, позвольте мне докончить...

Первоприс[утствующий]. В настоящее время это не относится к делу. Теперь мы производим судебное следствие...

Мышкин. Значит, мне не позволено...

Первоприс[утствующий]. Вы прерываете ход следствия...

Мышкин. Вот и вы точно так же не позволили мне возразить на общий вывод прокурора. Тогда я считаю себя обязанным сделать последнее заявление. Теперь я вижу, что у нас нет публичности, нет гласности, нет не только возможности располагать всем фактическим материалом, которым располагает противная сторона, но даже возможности выяснить истинный характер дела, и где же? В стенах зала суда! Теперь я вижу, что товарищи мои были правы, заранее отказавшись от всяких объяснений на суде, потому что были убеждены в том, что здесь, в зале суда, не может раздаваться правдивая речь, что за каждое откровенное слово здесь зажимают рот подсудимому. Теперь я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая комедия... или... нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное...

При словах «пустая комедия» [первоприсутствующий сенатор] Петере закричал: – Уведите его...

Жандармский офицер бросился на Мышкина, но подсудимый Рабинович, загородив собою дорогу и придерживая дверь, ведущую на «голгофу», не пускал офицера; последний после нескольких усилий оттолкнул Рабиновича и другого подсудимого, Стопане, старавшегося также остановить его, и обхвативши одною рукою самого Мышкина, чтобы вывести его, другою стал зажимать ему рот. Последнее, однако ж, не удалось: Мышкин продолжал все громче и громче начатую им фразу:

...более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества.

Когда Мышкин говорил это, на помощь офицеру бросились еще несколько жандармов, и завязалась борьба. Жандармы смяли Рабиновича, преграждавшего им дорогу, схватили Мышкина и вытащили его из зала. Подсудимый Стопане приблизился к решетке, отделяющей его от судей, и громко закричал:

– Это не суд! Мерзавцы! Я вас презираю, негодяи, холопы!

Жандарм схватил его за грудь, потом толкнул в шею, другие подхватили и потащили. То же последовало и с Рабиновичем. Эта сцена безобразного насилия вызвала громкие крики негодования со стороны подсудимых и публики. Публика инстинктивно вскочила со своих мест. Страшный шум заглушил конец фразы Мышкина. Вообще во время этой башибузукской расправы с подсудимыми в зале господствовало величайшее смятение. Несколько женщин из числа подсудимых и публики упали в обморок, с одной случился истерический припадок. Раздавались стоны, истерический хохот, крики:

– Боже мой, что это делают! Варвары! Бьют, колют подсудимых! Палачи, живодеры проклятые!

Защитники, приставы, публика, жандармы – все это задвигалось, заволновалось. Так как публика не обнаружила особой готовности очистить залу, то явилось множество полицейских, и под их напором публика была выпровождена из зала суда. Часть защитников старалась привести в чувство женщин, упавших в обморок. Рассказывают, что туда же сунулся жандармский офицер.

– Что вам нужно? – спрашивает его один из защитников.

– Может быть, понадобятся мои услуги?

– Уйдите, пожалуйста, разве вы не видите, что один ваш вид приводит людей в бешенство? – ответил адвокат.

Офицер махнул рукой и ушел, последовав умному совету. Во время расправы первоприсутствующего с подсудимыми прокурор и секретарь вскочили со своих мест и, видимо, смущенные оставались все время на ногах. Первоприсутствующий ушел и, растерявшись,

позабыл объявить заседание закрытым. Пристав от его имени объявил заседание закрытым. Говорят, будто защитники возразили, что им нужно слышать это из уст самого председателя. Поэтому они были приглашены в особую комнату, где первоприсутствующий объявил им о закрытии заседания. Защитники требовали составления протокола о кулачной расправе, но первоприсутствующий не считал нужным удовлетворить их просьбу и даже упрекнул адвокатов в подстрекательстве. [Обер-прокурор Сената] Желеховский воскликнул по этому поводу: – Это чистая революция.

Публикуется по: Журнал Скепсис (http://scepsis.ru/library/id_2964.html#a1) В этой публикации дана стенограмма заседания суда: ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 792. Лл. 60–69, 83–89. Подлинник.

«Процесс ста девяноста трех» («Большой процесс», официальное название – «Дело о пропаганде в Империи») – судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в Особом присутствии Правительствующего сената с 18 (30) октября 1877 по 23 января (4 февраля) 1878 года. К суду были привлечены участники «хождения в народ», которые были арестованы за революционную пропаганду с 1873 по 1877 год. Хотя подсудимые состояли в большом количестве различных организаций, большинство из них привлекалось как организаторы единого тайного революционного сообщества. Главными обвиняемыми стали народники С. Ф. Ковалик, П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачев и И. Н. Мышкин. Общее число арестованных по делу достигало четырех тысяч человек, однако многие еще до суда были сосланы в административном порядке, часть была отпущена за отсутствием улик, 97 человек умерли или сошли с ума. Наиболее интересным моментом суда явилась речь Мышкина, в которой он подробно рассказал о причинах и задачах революционного движения, а также обвинил суд в необъективности и некомпетентности, назвав его «домом терпимости». Речь Ипполита Никитича Мышкина настолько потрясла судей, что на следующий день он не был вызван в суд, хотя следствие шло как раз по его делу. На запрос защитника Утина по этому поводу первоприсутствующий ответил, что ни он, ни Особое присутствие «не признает возможным пригласить Мышкина вновь, опасаясь еще других, более неприятных последствий его явки». Невзирая на то, что защитник Утин настаивал на вызове Мышкина в суд (последний, по словам Утина, не отказывается продолжать давать свои объяснения суду), указывая на явное нарушение закона и беспрецедентность такого действия со стороны суда, первоприсутствующий еще раз ответил отказом, добавив, что «суд признает положительно опасным вызывать Мышкина». Эта речь была нелегально издана и распространена.

Процесс получил широкую огласку не только в России, но и за границей; произошло несколько скандалов, связанных со слабостью доказательной базы и обвинениями в необъективности суда.

Петр Алексеев

Речь на «процессе пятидесяти»

9 марта 1877 г.

Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени от непосильного труда и скудного за это вознаграждение. Десяти лет – мальчишками – нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотром взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало, – на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством всяких паразитов... В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна грубо воспитанная, всеми забытая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капитализма в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабег доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов и те, сверх скудного заработка, эксплуатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту за задельную работу беспрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-часовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других...

Председатель сенатор Петерс. Это все равно. Вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-часовой дневной труд – и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимым потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под яра нашу усталую руку и свободно сможем тогда протянуть ее для помощи другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-часовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом

наших братьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а о нас отзываются, как о народе рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-либо занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и невеста во шах» и т. под. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно – забавное, а другое – божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении – тогда уж держись! Ему прямо говорят: «ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги». И страннее всего то, что и иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное. Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы и немые, и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеет и веселится за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся, и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесловная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не чувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой, и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутины и обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но, увы!

Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, и если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он, с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство – 19 февраля. И что же? И это для нас было только одной мечтой и сном! Эта крестьянская реформа 19 февраля 61 года, реформа «дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях, – значит, они все крепостные!

Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистов заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, – значит, и мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных

штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, — значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, — значит, мы крепостные!

Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться на самих себя и не от кого ожидать помощи, кроме как от одной нашей интеллигентской молодежи...

Председатель вскакивает и кричит: «Молчите! Замолчите!»

Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает): Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значат и от чего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающейся пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (*говорит, поднимая руку*) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Председатель волнуется и, вскочив, кричит: «Молчать! Молчать!»

Петр Алексеев (возвышая голос).... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..

Публикуется по: Две речи. Спб., 1906. С. 7—14.

Петр Алексеевич Алексеев (1849–1891) родился в деревне Новинской Смоленской губернии, в семье бедного крестьянина. С детства работал на ткацких фабриках в Москве и Петербурге. В начале 1870-х гг. сблизился с революционерами-народниками. Вел пропаганду их идей и распространял среди рабочих подрывную литературу. С конца 1874 г. – член Всероссийской социально-революционной организации (оформившейся под этим названием в 1875 г.), целью которой было свержение государственного строя России ради установления «политических свобод». В апреле 1875 г. Алексеев был арестован. Суд над членами Всероссийской социально-революционной организации получил название «процесс 50-ти». Главным обвинением, выдвинутым против подсудимых, было участие в «тайном сообществе, задавшемся целью ниспровержения существующего порядка». 9 марта 1877 Петр Алексеев произнес на суде речь, которая сделала его знаменитым. В своей речи на суде он обрисовал те ужасные условия, в которых жил тогда рабочий класс, дал оценку «крестьянской реформе». Председатель суда несколько раз прерывал Петра Алексеева. Речь Петра Алексеева, произвела огромное впечатление не только на публику, но и на часовых-жандармов и судей. Речь была напечатана в революционном издании «Вперед» (1877, т. 5) и много раз перепечатывалась революционными группами.

П. А. Александров

Судебная речь в защиту Веры Засулич

31 марта 1878 г.

Господа присяжные заседатели!

Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но, тем не менее, задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?

Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связывается, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение.

Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю, что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом.

Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарем, с грошовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушны, радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми.

Когда действия должностного лица становятся мотивом для наших действий, за которые мы судимся и должны отвечать, тогда важно иметь в виду не только то, правильны

или неправильны действия должностного лица с точки зрения закона, а как мы сами смотрели на них. Не суждения закона о должностном действии, а наши воззрения на него должны быть приняты как обстоятельства, обуславливающие степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны, — они ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, соображенными с теми или другими руководившими нами понятиями.

Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем суждении о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах, я, полагаю, не буду судьей действий должностного лица и затем надеюсь, что в этих пределах мне будет дана необходимая законная свобода слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я с некоторой подробностью остановлюсь на таких обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником В. Засулич по ее собственному избранию, выслушав от нее в моих беседах с нею многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.

Я мог бы теперь начать прямо со случая 13 июля, но нужно прежде исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во всем прошедшем, во всей жизни В. Засулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела, не только для того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но ее прошедшее поучительно и для извлечения из него других материалов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас нередко производит преступление и преступников. Вам сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические данные; они не длинные, и мне придется остановиться только на некоторых из них.

Вы помните, что с семнадцати лет, по окончании образования в одном из московских пансионов, после того как она выдержала с отличием экзамен на звание домашней учительницы, Засулич вернулась в дом своей матери. Старуха-мать ее живет в Петербурге. В небольшой сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой.

Познакомилась она с ней совершенно случайно, в учительской школе, куда она ходила изучать звуковой метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, она не знала, да тогда еще и никто не знал его в России; он считался простым студентом, который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не представлявших ничего политического.

По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев — государственный преступник, и ее совершенно случайные отношения к Нечаеву послужили основанием к привлечению ее в качестве подозреваемой в государственном преступлении по известному нечаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были восемнадцатый и девятнадцатый годы ее юности.

Годы юности — по справедливости — считаются лучшими годами в жизни человека; воспоминания о них, впечатления этих лет остаются на всю жизнь. Недавний ребенок готовится стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали ясной, розовой, обольстительной стороной без мрачных теней, без темных пятен. Много переживает юноша в эти короткие годы, и пережитое кладет след на всю жизнь. Для мужчины это пора высшего

образования; здесь пробуждаются первые прочные симпатии; здесь завязываются товарищеские связи; отсюда выносятся навсегда любовь к месту своего образования, к своей alma mater. Для девицы годы юности представляют пору расцвета, полного развития; перестав быть дитятей, свободная еще от обязанностей жены и матери, девица живет полною радостью, полным сердцем. То – пора первой любви, беззаботности, веселых надежд, незабываемых радостей, пора дружбы; то – пора всего того дорогого, неуловимо-мимолетного, к чему потом любят обращаться воспоминаниями зрелая мать и старая бабушка.

Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть от них, что все, мол, слава богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем, время от времени, в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкальный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, человеческого общения – одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы несчастной доли.

В эти годы зарождающихся симпатий Засулич действительно создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию – беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее alma mater, которая закрепила эту дружбу, это товарищество. Два года кончились. Засулич отпустили, не найдя даже никакого основания предать ее суду. Ей сказали: «Иди», – и даже не прибавили: «И более не согрешай», – потому что прегрешений не нашлось, и до того не находилось их, что в продолжение двух лет она всего только два раза была спрошена, и одно время серьезно думала, в продолжение многих месяцев, что она совершенно забыта. «Иди». Куда же идти?

По счастью, у нее есть куда идти – у нее здесь в Петербурге, старуха-мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы свиданием; казалось, два тяжких года исчезли из памяти. Засулич была еще молода – ей был всего двадцать первый год. Мать утешала ее, говорила: «Поправишься, Верочка, теперь все пройдет, все кончилось благополучно». Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая жизнь одолеет, и не останется следов тяжелых лет заключения.

Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла казаться земным раем после тюремной жизни; прошло десять дней, полных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается – не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет он Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную тюрьму. «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебною палатою и Правительствующим Сенатом». – «Не могу знать, – отвечает надзиратель, – пожалуйста, я от начальства имею предписание взять вас».

Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что: легкое платье, бурнус, говорит: «Завтра мы тебя навестим, мы пойдем к прокурору, этот арест – очевидное недоразумение, дело объяснится и ты будешь освобождена». Проходят пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения. Возможно ли, чтобы после того как дело было прекращено судебною властью, не нашедшей никакого основания в чем

бы то ни было обвинять Засулич, она, едва двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана и выслана только что освобожденная, после двухлетнего тюремного заключения.

В пересыльной тюрьме навещают ее мать, сестра; ей приносят конфеты, книжки; никто не воображает, чтобы она могла быть выслана, и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.

На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуйте, вас сейчас отправляют в город Крестцы». – «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность дать знать родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою отправку хоть на день, на два, я дам знать родным». – «Нельзя, – говорят, – не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».

Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнусе; пока ехала по железной дороге, было сносно, потом поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель месяц, стало в легком бурнусе невыносимо холодно: жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли ее в Крестцы. В Крестцах сдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором».

Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь в неизвестном городе. У нее оказывается рубль денег, французская книжка да коробка шоколадных конфет.

Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представилось возможности, тем более, что нельзя было скрыть, что она – высланная административным порядком. Я не буду затем повторять другие подробности, которые рассказала сама В. Засулич. Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом, началась ее бродячая жизнь, – жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У нее делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и, наконец, о ней совсем забыли.

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом 1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о наказании Боголюбова.

Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, сделать еще маленькую экскурсию в область розги.

Я не имею намерения, господа присяжные заседатели, представлять вашему вниманию историю розги, – это завело бы меня в область слишком отдаленную, к весьма далеким страницам нашей истории, ибо история русской розги весьма продолжительна. Нет, не историю розги хочу я повествовать перед вами, я хочу привести лишь несколько воспоминаний о последних днях ее жизни.

Вера Ивановна Засулич принадлежит к молодому поколению. Она стала себя помнить тогда уже, когда наступили новые порядки, когда розги отошли в область преданий. Но мы, люди предшествовавшего поколения, мы еще помним то полное господство розг, которое существовало до 17 апреля 1863 г. Розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была неременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Существовало сказание – апокрифического, впрочем, свойства, – что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом, и русское сечение совер-

шалось по всем правилам самой утонченной европейской вежливости. Впрочем, достоверность этого сказания никто не подтверждал собственным опытом. В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла какой-то легкий мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутенгов.

Но наступил великий день, который чтит вся Россия, – 17 апреля 1863 г., – и розга перешла в область истории. Розга, правда, не совсем, но все другие телесные наказания миновали совершенно. Розга не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена. В то время было много опасений за полное уничтожение розги, опасений, которых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розг Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой, – Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам. Как, казалось, вдруг остаться без этого цемента, связующего общественные устои? Как будто в утешение этих мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах и утратила свою публичность.

По каким соображениям решились сохранить ее, я не знаю, но думаю, что она осталась как бы в виде сувенира после умершего или удалившегося навсегда лица. Такие сувениры обыкновенно приобретаются и сохраняются в малых размерах. Тут не нужно целого шиньона, достаточно одного локона; сувенир обыкновенно не выставляется наружу, а хранится в тайнике медальона, в дальнем ящике. Такие сувениры не переживают более одного поколения.

Когда в исторической жизни народа нарождается какое-либо преобразование, которое способно поднять дух народа, возвысить его человеческое достоинство, тогда подобное преобразование прививается и приносит свои плоды. Таким образом, и отмена телесного наказания оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства. Теперь стал позорен тот солдат, который довел себя до наказания розгами; теперь смешон и считается бесчестным тот крестьянин, который допустит себя наказывать розгами.

Вот в эту-то пору, через пятнадцать лет после отмены розг, которые, впрочем, давно уже были отменены для лиц привилегированного сословия, над политическим осужденным арестантом было совершено позорное сечение. Обстоятельство это не могло укрыться от внимания общества: о нем заговорили в Петербурге, о нем вскоре появляются газетные известия. И вот эти-то газетные известия дали первый толчок мыслям В. Засулич. Короткое газетное известие о наказании Боголюбова розгами не могло не произвести на Засулич подавляющего впечатления. Оно производило такое впечатление на всякого, кому знакомо чувство чести и человеческого достоинства.

Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и унижительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, – этот человек сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унижительного наказания. Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достояние развитого человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.